

У Р А Л Ь С К И Й
СЛЕД О П Ы М
ISSN 0134 - 241X URAL STALKER 4'1993

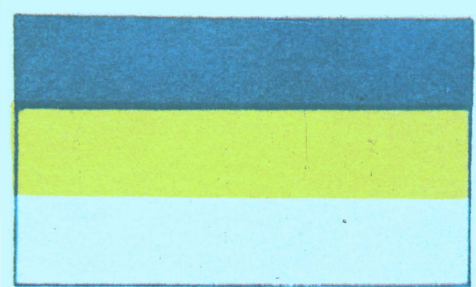
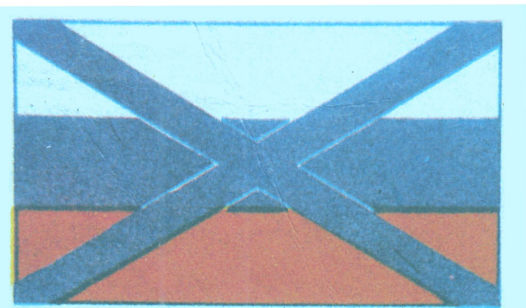
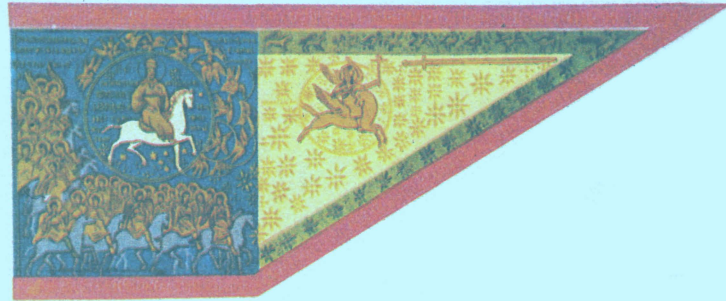
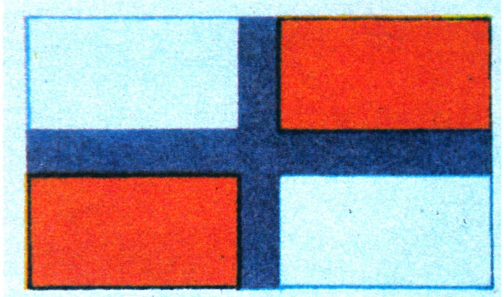
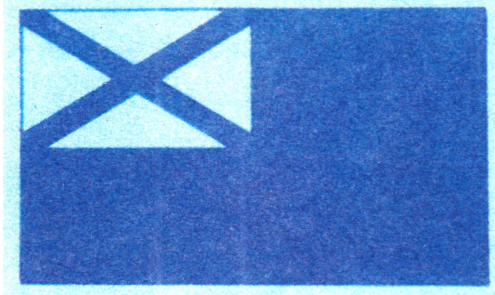
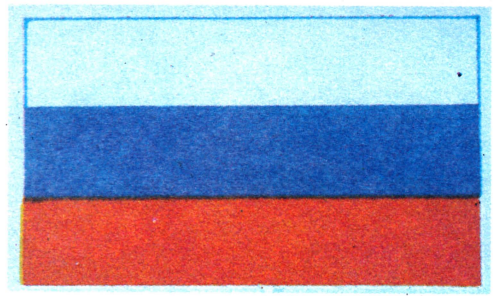
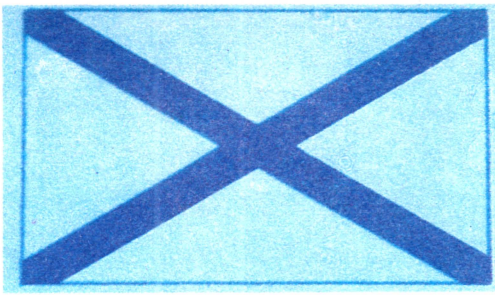
**НЕИЗВЕСТНЫЕ
ВОЙНЫ**
стр.23

**ИНТЕРВЬЮ
С ВИТАЛИЕМ
ВОЛОВИЧЕМ**
стр.73

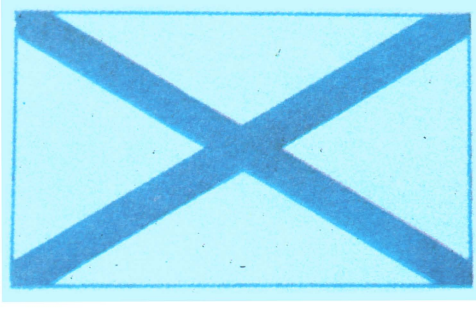
**НОВЫЙ РОМАН
ВЛАДИСЛАВА
КРАПИВИНА**
стр.9

ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР





Государственный флаг (1858—1883)



УЧРЕДИТЕЛИ:

Союз Писателей России,
Ассоциация советских
книгоиздателей,
трудовой коллектив журнала

ИЗДАТЕЛЬ:

Издательство
«Уральский следопыт»

Журнал основан в 1935 году,
возобновлен в 1958 году.

РЕДАКЦИЯ:

Станислав МЕШАВКИН
(главный редактор),
Виталий БУГРОВ,
Юний ГОРБУНОВ,
Сергей ГРИГОРЬКИН
(главный художник),
Герман ИВАНОВ
(заместитель главного редактора),
Ольга НАГИБИНА
(исполнительный директор),
Андрей ПОНИЗОВКИН,
Юрий ШИНКАРЕНКО,
Нина ШИРОКОВА

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Виктор АСТАФЬЕВ, Сергей
КАЗАНЦЕВ, Владислав КРАПИВИН,
Юрий КУРОЧКИН, Николай
НИКОНОВ, Олег ПОСКРЕБЫШЕВ,
Борис СТРУГАЦКИЙ, Марат
ШИШИГИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

620219, г. ЕКАТЕРИНБУРГ,
ГСП-353, ул. ДЕКАБРИСТОВ, 67
ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ:
223-662 (ФАНТАСТИКИ),
224-501 (КРАЕВЕДЕНИЯ, СЕКРЕТАРИАТ),
220-481 (ПРОЗЫ И ПОЭЗИИ,
ПУБЛИЦИСТИКИ, НАУКИ И ТЕХНИКИ,
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОБЛЕМ)

Компьютерная верстка выполнена
в ТМ "КВН УПИ"
Оператор: А. БЕЛЯШКИН

Рукописи принимаются перепечатанными
на машинке через 2 интервала, 60 знаков
в строке, 28-30 строк на странице.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются.

По вопросам подписки и доставки
обращаться в районные отделения
"Росвязьинформа"

Бракованные экземпляры отправлять
в Чеховский полиграфический комбинат.

Подписано к печати 02. 04. 1993.
Формат бумаги 84x108 1/16.
Бумага типографская N2.

Офсетная печать.
Усл. печ. л. 9, 02
Уч.-изд. л. 13, 5
Усл.кр.-отт. 10, 2
Тираж 115240 экз.
Заказ N-643,
С.-4

Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат
Министерства печати и информации
Российской Федерации
142300, г. Чехов Московской обл.

На 1 стр. обложки художник
Виталий ВОЛОВИЧ

Слайд В. ДОНЕЦКОГО

© "Уральский следопыт", 1993 г.

1 Уральский следопыт N 4

У Р А Л Ь С К И Й СЛЕДОПЫТ

URAL STALKER 4*1993

В НОМЕРЕ

Стяги России Виктор СТЕПАНОВ	2
Краеведческая копилка	4
Князь Сан-Дonato. Очерк Николай МЕЗЕНИН	7
Бронзовый мальчик Роман. Начало Владислав КРАПИВИН	9
Быстрая езда по Мозамбику Валерий АМИРОВ	23
Из полевого дневника Владимир НИКОЛАЕВ	25
Памятник мамонту Виктор ХОХЛАЧЕВ	26
Добрый бог джунглей Сергей ГЕОРГИЕВ	28
Заочный КЛФ	30
Тот, кто не спит. Фантастическая повесть Василий ЩЕПЕТНЕВ	31(59)
Андрей Лоцманов, или Свободы сеятель пустынный.. Очерк Вильгельм ВОГАУ	51
«В сущности, для художника мало что изменилось» Виталий ВОЛОВИЧ	73
И боль, и радость... Стихи Венедикт СТАНЦЕВ	76
Ave, Caesar! Детективный рассказ Дональд ХЕНИГ	77
В селе на речке Синячиха Елена ЗОРИНА	79
Мир на ладони	80

СТЯГИ РОССИИ

Виктор СТЕПАНОВ

Полки двадцати трех княжеств повел Великий князь Московский и Владимирский навстречу мамаевым полчищам. И встали на поле Куликовом «богатыри те русии и хорюгви, яко живи пашутся». Должно быть, самой яркой из тех «хорюгвей» была та, которую, по преданию, вместе с благословением на бой за Русь Святую, вручил Дмитрию, будущему Донскому, Сергей Радонежский — багряно-красная с суровым ликом Спасителя. Предание гласит, что стал тот священный стяг знаменем победы, от него и пошли на Руси знамена.

Но и раньше, задолго до битвы Куликовой, колыхались над дружинами русских князей прапоры и хорюгви. Старинные византийские летописи свидетельствуют, что предки наши и в морских походах на Царьград (VII-IX века) крепили над ладьями стяги, чтобы видно было издалека: Русь идет! С принятием христианства их стали украшать крестами и ликами святых заступников. Под такими крестовыми хоругвями ходили воины Ивана Грозного под стены Казани класть предел бесчинству волжских татар, отправлялась рать московская на юг оборонять Окраину от татар крымских, на запад — отражать «немца и литву».

Перед боем знамя-стяг водружался на возвышенном месте, чтобы виден был со всех сторон. Потеря знамени означала поражение, и потому берегли его «пуше глаза», назначая в охрану самых отважных и ловких (отсюда, кстати сказать, произошли воинские чины и звания: хорунжий, прапорщик).

Шло время. В единую державу сплывались вокруг Москвы русские земли. Одна вера, кровь, один язык, одни традиции — все это находит отражение на полотнищах знамен. Помимо символов христианства появляются цвета, соответствующие национальному характеру руссиян: красный — мужество, синий — верность вере, белый — чистота духа и незлобность. Есть документальное подтверждение тому, что в середине XVII века для шитья ротного знамени состоящих на русской службе иностранцев, царской казной было отпущено «дорогов лазоревых (т.е. синих), да червчатых (красных), да миткалю белаго...» Это первое упоминание о наборе национальных цветов России для флага.

Впрочем, такого слова как «флаг» Русь еще не ведала. Его введет в обиход Петр I,

заимствовав в Голландии вместе с другой морской терминологией. Ни кто иной как он стал учредителем тех флагов России, которые дожили до 1917 года и возрождаются к жизни сегодня.

В архивах, относящихся к эпохе Петра, хранятся несколько рисунков, сделанных рукой молодого царя, как варианты флагов для судов его Потешной флотилии, строящихся тогда под Москвой на Переславском (Плещеевом) озере. Два из них историки относят к 1691-1692 годам. Один составлен из трех горизонтальных полос белого, синего и красного цвета (триколор), второй такой же расцветки, но с наложенным на все полотнище по диагоналим косым синим крестом. В изданном в 1693 году за рубежом и ныне хранящемся в библиотеке Национального музея в Лондоне альбоме флагов, второй уже был помещен с надписью: «Флаг Московии, белый, синий и красный, крест синий», — утверждает старейший из наших флаговедов Н.Н.Семенович.

Примерно тогда же Петр учреждает личный, флаг главы государства Российского или царский штандарт — опять же бело-сине-красное полотнище с помещенным в центре его гербом, — двуглавым орлом золотого (желтого) цвета. Поднимались ли триколоры на «потешных» кораблях Петра, документально не подтверждено. Зато известно, что под царским штандартом, получившим название «флаг Царя Московского», в 1693 году Петр по рекам на струге совершил свое первое путешествие к морю, в Архангельск. «Флаг Царя Московского» чудесным образом сохранился до наших дней: по окончании путешествия Петр вместе со стругом и прочей «снастию судовою» подарил этот флаг архангельскому архиепископу Афанасию. Церковь сберегла реликвию для потомства: в 1910 году ее обнаружил в одном из архангельских судов офицер флота Белавенец. Ныне флаг хранится в Центральном Военно-Морском музее в Санкт-Петербурге.

Очевидно, такой же флаг сопутствовал Петру I и при его вторичном путешествии в Архангельск в 1694 году. В то лето царь присутствовал на спуске первого торгового морского судна России «Святой Павел», построенного к его приезду на верфи Соломбала, и встречал приобретенный в Голландии 44-пушечный фрегат «Святое Пророчество» («Санта Провитс»). В некоторых публикациях утвер-

ждается, что на этих кораблях и был впервые поднят триколор в качестве государственного. Если это так, то, скорее всего, это было простое, без герба, бело-сине-красное полотнище, ибо капитаном фрегата Петр назначил своего сподвижника и друга Франца Лефорта, а себе отвел скромную роль шкипера Петра Михайлова. Сомнительно, чтобы он, хорошо знавший морской этикет, разрешил поднимать на «Пророчестве» свой царский штандарт.

Ныне официальные справочники датируют начало использования триколера как на военных, так и на гражданских судах России 1697 годом. При этом распространено мнение, что за образец Петр взял флаг Голландии, лишь поменяв местами полосы (у голландского сверху вниз идут: красная, белая, синяя). Основания для такого предположения есть. Голландия в ту пору в делах кораблестроения и мореплавания была страной передовой, и в создании своего флота Петр опирался на ее богатый опыт. Влияние голландской школы вполне могло сказаться и на выборе рисунка кормового флага русских кораблей.

Но первых ли? Еще в 1570 году по повелению царя Ивана IV Грозного для охраны русского судоходства на Балтийском море была создана целая флотилия боевых судов. Позже отец Петра, царь Алексей Михайлович, приказывает строить военный корабль, дабы защитить от разбоя на Волге и Каспии купеческие суда. К весне 1669 года 22-пушечный трехмачтовый корабль был готов. С гордым именем «Орел» он отправился вниз по Волге-матушке.

Под какими флагами плавали на Балтике корсары Ивана Грозного, вряд ли когда-нибудь станет известно, а вот для «Орла» были изготовлены специальные флаги, ставшие первыми военно-морскими флагами России. Сохранилась переписка с «казной» некоего Д.Бутлера, выписанного из-за границы на должность капитана «Орла» и возведенного по этому случаю в чин «кормщика-генерала». Желая оснастить корабль по-западному, вместе с другим оборудованием он запрашивает у казны и материю для флагов. При этом педантичный иностранец решил, что цвет флагов будет «как Великий Государь укажет, но тако бывает, какого государства корабль, такого государства и знамя».

У России тогда еще не было официально объявленного государственного флага, однако Алексей Михайлович приказывает отпустить Бутлеру «на знамена и яловочки (взмелы) к корабельному строению в селе Дединове хиндяки и тафту (виды тканей) червчатую, белую и лазоревую», т.е. — матерью красного, белого и синего цветов. Значит, уже знали тогда на Руси, какие цвета в народе почитают «своими», российскими.

Популярность бело-сине-красной цветовой гаммы восходит у нас к цвету праздничных одежд в Киевской Руси, к знаменам княжеских дружин, гербам стольных городов. Гербом Москвы, например, издавна был всадник, одетый в синюю мантию, сидящий на белом коне и изображенный на красном щите. Сначала то был просто «ездец» — конный воин, потом его стали олицетворять с Великими князьями московскими, а еще позже — с образом библейского Святого Великомученика Георгия Победоносца, ставшего в российской геральдике одной из самых примечательных фигур. Значит, утверждая бело-сине-красный флаг, Петр I не погрешил против главного — триколер поддержан в национальных цветах России.

Флаг «Орла» — первое документально подтвержденное появление этих цветов на полотнище знамени. Известен и его рисунок: в общем виде это прямоугольник, поделенный прямым синим крестом на четыре части: 1-я и 4-я — белого цвета, 2-я и 3-я — красного. Такие же флаги несли и корабли Петра I, построенные за одну зиму 1695–1696 года в Воронеже и принявшие участие во втором, уже победоносном, походе российского войска к Азову. По некоторым сведениям крестовые знамена подобного рисунка были и в стрелецких полках. Не это ли обстоятельство заставило Петра, не жаловавшего вечно бунтующих стрельцов, учреждать новые рисунки российских флагов? 20 октября 1696 года Боярская дума по настоянию Петра I выносит «приговор» (указ): «Морским судам быть!». Начинается строительство регулярного Военно-Морского флота России. Под стук топоров российских мастеровых идут на воду галеры, шнявы, фрегаты. Пока они плавают под ординарным триколером, но Петра, очевидно, уже не удовлетворяет расцветка кормового флага боевых судов. Он чертит и пробует другие, в которых бело-сине-красный триколер в разных вариантах сочетается с косым синим (андреевским) крестом. Специалисты называют их «флагами переходного рисунка» и относят к периоду 1698–1700 годов. «Парад» «переходных» заканчивается одноцветным белым полотнищем, с «висящим» (с лучами, не подходящим до краев полотнища), андреевским крестом синего цвета — флаг весьма близкий уже к легендарному Андреевскому.

В 1700 году бело-сине-красный триколер окончательно исчезает с флажков боевых судов флота. Вместо него корабли поднимают флаги в зависимости от нахождения в одной из основных эскадр флота: белый — в крадебатании (главных силах), синий — в авангарде и красный — в арьергарде. Все три полотнища одноцветные, но на каждом в крыже (верхняя часть флага у флагштока) — белый пря-

моугольник, перечеркнутый по диагонали синими лучами косога андреевского креста. Таким образом во флаге каждой из эскадр присутствует другой, андреевский. А в 1712 году учреждается единый, для всех боевых кораблей флота, как писал Петр I, «флаг белый, через который синий крест Св. Андрея, того ради, что от сего апостола приняла Россия святое крещение». По имени этого библейского святого военно-морской флаг России и стал называться Андреевским.

По преданию, Андрей — один из 12 апостолов, первых учеников и последователей Христа, проповедовавший, много путешествовал. Побывал он и на берегах Днепра, где на месте будущего Киева водрузил большой крест, пророчествуя о появлении здесь столицы могущественнейшего христианского государства. В Риме, где началось гонение на христиан, Андрей был схвачен и приговорен к распятию на кресте. Не став покупать жизнь ценой измены вере, апостол попросил, чтобы его казнь была совершена на кресте иной формы, чем тот, на котором окончил свою земную жизнь Иисус Христос: не достоин-де я быть распятым на подобном. Римляне исполнили просьбу: был сколочен крест в виде буквы «Х», который и стал известен как «андреевский».

Предание о первом проповеднике христианства на древних славянских землях (отсюда — Первозванный) стало в России весьма популярным. Люди видели в мученической смерти апостола пример стойкости в вере и убеждениях. Петр I использовал предание о Первозванном в геральдике; как видим, синий крест андреевский крест появляется на русских знаменах еще в 1691–1692 годах, а в 1698 году (в некоторых источниках — март 1699 г.) он учреждает орден Святого Андрея Первозванного — высшую награду России, — существовавший до 1917 года.

Более двух веков плавали и сражались под бело-голубым Андреевским флагом русские моряки. С ним они одержали десятки блестящих побед на море и на суше. Под этим флагом Россия вышла в число самых могучих морских держав мира. «А что же бело-сине-красный триколер? — спросит нетерпеливый читатель, — тот, который ныне объявлен государственным флагом Российской Федерации?»

Перестав служить в качестве символа на боевых кораблях Военно-Морского флота России, он продолжал быть таковым на судах гражданских, торговых, в основном — частного владения. Российские купцы поднимали триколер, заботясь единственно о его размерах, — чем больше полотнище, тем больше достоинства, — чередуя белую, красную и синюю полосы как придется. Такими же нестандартными флагами начала украшать по торжественным дням свои дома российская знать. Одновременно начались споры о правомочности триколера представлять российское государство. Тем более, что ни в одном законе империи, начиная с Уложения 1649 года, не было статей, устанавливающих цвета государственного или национального флага России.

В 1858 году выходит в свет сочинение генерал-лейтенанта А.П.Языкова, директора Училища правоведения, «О русском государственном цвете». Автор доказы-

вал, что по правилам геральдики такими цветами должны быть черный, желтый и белый, поскольку они соответствуют цветам императорских кокард, начиная со времени Петра I. Сочинение появилось не случайно: управляющий отделением Департамента геральдики Сената барон В.Кекне, едва говоривший по-русски, но считавший себя знатоком традиций и обычаев русского народа, возбудил вопрос о пересмотре цветов флага России. Усилиями «реформаторов» был подготовлен проект описания цветов и их расположения на государственном флаге России. 11 июля 1858 года Александр II его утвердил. Государственным или *правительственным* объявлялся флаг из трех цветных полос (сверху вниз): черная, желтая и белая. А бело-сине-красный триколер получал официальный статус Общерусского или Обывательского флага и продолжал украшать *обывательские* суда.

Черно-желто-белый триколер популярности в народе не приобрел, и многие по-прежнему в торжественных случаях вывешивали более знакомый бело-сине-красный. Не умолкали и споры о национальных цветах России. Тогда в 1873 году «высочайшим повелением» черно-желто-белый объявляется национальным флагом, а бело-сине-красный всего лишь коммерческим. Это вызывало новое возмущение сторонников последнего. Споры и дебаты не утихали. В конце концов, в 1883 году повелением императора черно-желто-белое сочетание на флаге упраздняется совсем и национальным объявляется флаг бело-сине-красный. Повеление Александра III от 28 апреля 1883 года гласило: «Чтобы в тех торжественных случаях, когда признается возможным допустить украшение зданий флагами, был употреблен исключительно русский флаг, состоящий из трех полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цветов». Этот день и считается датой утверждения прежнего триколера государственным флагом Российской империи.

Однако и акт Александра III последнюю точку не поставил. Дабы положить конец спорам, Николай II в 1896 году собирает Особое совещание, оно подтверждает, что «флаг бело-сине-красный имеет полное право называться российским или национальным и цвета его: белый, синий и красный именоваться государственными; флаг же черно-оранжево-белый не имеет к тому ни геральдических, ни исторических оснований».

Однако не такова российская натура, чтобы легко согласиться с выводами пусть и Особого совещания. В правительственную канцелярию опять поступают письма, рисунки флагов... В самый канун первой мировой войны вводится, в качестве государственного, бело-сине-красный триколер с императорским штандартом (черный двуглавый орел на желтом полотнище) в крыже. Флаг этот тоже широкого применения не нашел, а в 1917-м спорить стало не о чем: вся символика Российской империи, как не соответствующая духу нового государства, была скопом упразднена. ■

О русском государственном цвете». Автор доказы-

Виктор РОМАШОВ

Столица камских бурлаков

На высоком берегу Камского водохранилища раскинулось старинное село Слудка. Название его происходит от старорусского слова «слуда» — высокий берег. «Путеводитель по реке Каме и притокам» (1912 год) сообщает нам: «Красивое, выглядевшее городом, село Слудка совершенно не похоже по наружному виду на наши села и живет своими особыми, не деревенскими интересами, вследствие специального занятия населения. Это исконное гнездо бурлаков, подобно таким же селам: Истобенскому на Вятке, Кадницам на Волге».

Село Слудка и две близлежащие волости давали Каме, Волге и сибирским рекам «природных матросов» — штурвальных, лоцманов, водоливов и капитанов — всех, кроме машинной команды. Летом в селе оставались стар да мал. Зато зимой село жило полной жизнью до самой масленицы, когда слудские бурлаки начинали разъезжаться по затонам для подготовки судов к навигации.

В Пермском краеведческом музее хранится картина работы крепостного художника Ивана Некрасова. На ней изображен Сила Васильевич Демидов — крепостной крестьянин графов Строгановых из села Слудки. И само село: на берегу стоит каменная красавица церковь, видны дома, а внизу плывет по Каме баржа, влекомая бурлаками. Это одно из самых первых изображений села.

Впервые Слудка упоминается в реписи Перми Великой 1579 года, произведенной писцом Яхонтовым и подьячим Карповым.

Характерный северный говор жителей выдает их происхождение — это потомки устюжан, каргопольцев, вологжан и других. С детства они вырастали на берегах больших рек, кормились речным промыслом, реже — земледелием. Развитию прикамских селений способствовали солепромышленники Строгановы из Соли Вычегодской. Они получили в 1558 году от царя Ивана IV Грозного жалованную грамоту на земли по реке Каме от Соли Камской до устья реки Чусовой. Строгановы начали в Прикамье разные промыслы, но главным было солеварение. К



Камские речники, 1927 год.

концу XVII века более 60 процентов всей соли российской добывали Строгановы. А основной дорогой ее на ярмарки была река Кама. На верях строились баржи, которые после загрузки солью сплавляли бурлаки. Труд бурлаков изображен на живописных полотнах, в песнях и прозе. Уроженец села Слудки писатель Александр Спешиллов, опираясь на свой жизненный опыт, создал роман, переиздававшийся пятнадцать раз.

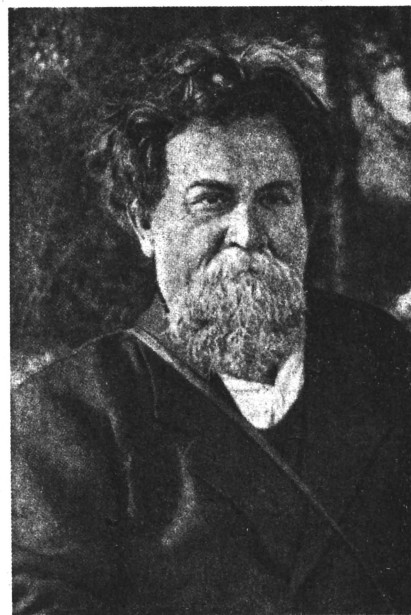
Потом бурлацкий труд взяли на свои плечи буксирные и грузо-пассажирские пароходы. Потребность в речниках (так стали их называть) возрастала. Из Слудки выходили знаменитые капитаны, плававшие не только по Каме, но и по многоводным рекам Сибири. Путь к капитанскому мостику был труден, его проходили только самые достойные. Знают в Слудке Феофана Ивановича Швецова. Окончив сельскую школу, Рыбинское речное училище, он плывал матросом, потом много лет штурвальным, лоцманом, помощником капитана. В 36 лет стал капитаном пассажирского парохода «Алексей» (позднее «Академик Карпинский»).

В 1913 году на Каме появилась первая самоходная баржа «Данилиха». Вел ее слудский капитан И. Д. Ушаков. Нельзя не вспомнить и слудчанина Григория Михайловича Чудинова, помощника пермского пароходчика-миллионера Николая Мешкова. Это был человек феноменальной памяти и деловой хватки. В любое время дня и ночи мог дать справку о нахождении пароходов и грузов, о состоянии расцетов с главными клиентами и поставщиками.

Владимирская обл.

Александр РЕЗНИЧЕНКО

Потомок Дениса Давыдова



Константин Николаевич Давыдов

В 1916 году в Перми было открыто отделение Петербургского университета. На должность профессора зоологии и организатора кабинета зоологии позвоночных из Петрограда пригласили ученого К. Н. Давыдова. Отец его Николай Константинович по воспоминаниям современников представлял собой фигуру колоритную. Умный и образованный человек, он гордился прямым родством с поэтом Денисом Васильевичем Давыдовым, героем 1812 года. Сам страстный охотник, он и сыну привил любовь к русской природе, наблюдательность и пренебрежение к превратностям судьбы.

Уже студентом Константину пригодились эти качества — в первой экспедиции по Сибири, Палестине и Аравии. Караванными путями пересек немало засушливых и неисследованных земель. А спустя год прошел пустыней от южного берега Мертвого моря до Ака-

бы на Красном море. Его записи, написанные сочным языком романтика, похожи на волшебные сказки. А богатые коллекции животного мира стали его первым вкладом в отечественную науку.

Прошло еще два года, и Давыдов — в Индонезии. 9 месяцев он провел в тропиках. Изучал морских животных, собирал коллекции насекомых. Посетил остров Новая Гвинея, прошел через малодоступные тропические джунгли. Не ограничиваясь зоологией, собирал ценные этнографические материалы: оружие, украшения. До 1910 года он побывал на Памире, в Закаспийском крае, на побережье Баренцева моря. Вскоре защитил диссертацию на звание магистра по эмбриологии беспозвоночных и стал доктором зоологии.

В Пермь Давыдов приехал налегке. Библиотеку и коллекции, привезенные из стран Азии, оборудование для кафедры отправил водой. Потом оказалось, что баржа с грузом затонула, либо ее перехватили.

В Перми он поселился в дачной местности — Нижней Курье, возле Камской биологической станции. Об особых условиях не мечтал. Сразу же начал чтение лекций. Аудитория всегда была забита до отказа. Слушать Давыдова приходили не только студенты, но и преподаватели университета.

Читал лекции и для рабочих. Жена, Агния Юрьевна, вспоминает его лекцию в Мотовилихе — об эволюции органического мира. «Неожиданно погас свет, и ученый продолжал чтение в полной темноте. Он предполагал, что большая часть слушателей уйдет, но через полчаса, когда загорелся свет, был изумлен: никто не покинул зала...»

На лето 1919 года намечалась экспедиция на Северный Урал. Однако планы рушились, шла гражданская война, и жизнь университета угасала.

В одном из писем другу В.В.Редикорцеву Давыдов писал: «Живем плохо... Вообще не рад, что решил ехать в Пермь — работать здесь невыносимо. Кабинет не отстроен и надежды на скорый ремонт нет. Оборудование и книги где-то блуждают по России. Занятия вряд ли состоятся. Тянет из Перми в Петроград ужасно. При первой возможности уйду».

Ученый и исследователь не мог сидеть без дела.

Когда белые подошли к Перми, Давыдов втиснулся в один из последних поездов, идущих на запад, и добрался до Петрограда. Он был охвачен идеей новой экспедиции в тропики. Последней была поездка в Олонекский край. Там он изучал фауну и промыслы Севера, в частности, доказал практически, что многие морские птицы Ледовитого океана проводят время на озерах Карелии.

В 1920 году сложные личные обстоятельства заставили Давыдова временно покинуть родину. Но жизнь сложи-

лась так, что отлучка превратилась в расставание на всю жизнь. Тяжелое материальное положение постоянно сковывало деятельность ученого и путешественника. В 1929 году с женой и сыном он морским путем отправился в Сайгон (ныне Хошимин) и пять лет жил и работал в Океанографическом институте.

Во время оккупации Франции фашистами Давыдов потерял все, кто его поддерживал и ценил, но более интенсивной стала переписка с родиной. В 1960 году талантливый русский ученый-зоолог, потомок Дениса Давыдова умер и похоронен на русском кладбище под Парижем. Кроме научных трудов К.Н.Давыдов оставил записки натуралиста-охотника. Все, кто знаком с ними, называют автора певцом родной природы.

Так непросто сложилась судьба человека и ученого, искренне любившего Россию. Ныне имя его почти стерлось в истории биологической науки. □

г. Пенза

Валентин ШУМОВ

Донские казаки — потомки новгородцев

Донцы издавна задумывались о своем происхождении. Высказывались различные, подчас самые фантастические предположения. Так, первый донской историк А.Г.Попов уверял, что донские казаки — потомки легендарных амазонов. Н.М.Карамзин заявлял, что происхождение казаков «не весьма благородно» и вел их родословную от неких разбойничьих шаек.

Оригинальную мысль высказал историк и литератор Евграф Савельев в своей «Истории казачества», изданной в 1915-1918 гг. в Новочеркасске. По его мнению, донские казаки являются потомками новгородских повольников. Он писал, что еще в XII столетии «отважные новгородские повольники, или ушкуйники, основали на реке Вятке город Хлынов и оттуда предпринимали свои торговые путешествия или военные набеги вниз по Волге».

Предводители ватаг именовались ватманами, впоследствии — атамана-

ми. Новгородские повольники основали Елабугу, а затем поселения по рекам, впадающим в Волгу и Дон. Здесь и были «первые становища хлыновцев, бежавших от поработавших московских князей. Торговые караваны давали случай этой вольнице приобретать «зипуны», а пограничные городки враждебных Москве рязанцев служили местом сбыта добычи, в обмен на которую могли получить хлеб и порохи».

Постепенно повольники спустились вниз по Дону до самого Азова и слились с другими казацкими общинами, сложившимися из пришедших с Украины, Белгородчины, воронежской земли вольных людей.

Таким образом, утверждал Е.Савельев, новгородцы «положили основание Всевеликому войску Донскому, с его древним вечевым управлением».

С удивительным автор книги отмечал, что «казаки-новгородцы на Дону — самый предприимчивый, стойкий в своих убеждениях, даже до упрямства, храбрый и домовитый народ».

Новгородцы занесли на Дон названия таких станиц, как Багаевская, Гундоровская, Раздорская, Ярыженская. Говор донцов, особенно в Первом и Втором округах, очень сходен с новгородским. Савельев отмечал присутствие «новгородского элемента» в свадебных обрядах, нравах и обычаях, в архитектуре донских церквей. Храмы, построенные новгородцами, отличались от греческого стиля. Такие церкви стояли в станицах Петровской на Хопре, Урюпинской, Голубинской, Пятиизбянской, Богоявленской и некоторых других.

Много сходства находил Евграф Савельев в памятниках народного эпоса новгородцев и донцов. Роденные на новгородской земле былины о князе Владимире и богатырях его эпохи Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче и его бое со Змеем Горынычем были записаны также в станицах Клетской, Уть-Быстрианской, Нижне-Курмоярской, Мариинской.

В сборниках древних казачьих былинных песен, записанных со слов старожил, были песни, сходные с теми, что имели распространение в Новгородской, Олонекской и Архангельской губерниях.

И еще одно любопытное наблюдение сделал Савельев: «По всему Дону, с верху до низу, красной нитью проходит по станицам и хуторам говор новгородский, чистый и звучный, как и бросающийся в глаза самый тип этого элемента казачества, его домовитость и закоренелый консерватизм, удерживающий с поразительной стойкостью древние обряды и обычаи, а также и религиозные мировоззрения в виде старообрядчества и разного рода сектантства».

А теперь поближе познакомимся с человеком, который довольно доказательно заговорил о происхождении донских казаков от новгородцев. 56-

летнего автора «Истории казачества» Евграфа Петровича Савельева ко времени появления этой книги знали на Дону как видного общественного и культурного деятеля. Он родился в 1860 году в станице Константиновской, административном центре Первого Донского округа. Окончил Нозочеркасскую учительскую семинарию. Учительствовал в приходских училищах в станицах. Позже служил делопроизводителем в областном Войсковом правлении, некоторое время являлся членом правления общества взаимного кредита. Имел чин надворного советника.

Еще студентом начал литературную деятельность. Сочинял стихи, рассказы, пьесы, публиковал их в местных газетах под псевдонимом Евграф. В 1909 году издал сборник стихотворений. Позже появились его драмы «Стенька Разин», «Булавин и Некрасов».

Прошлое родного края многие годы привлекало и волновало Евграфа Савельева. Еще в 1904 году он опубликовал «Очерки по истории торговли на Дону» и статью «Кто был Ермак и его сподвижники». Затем появились очерки «Атаман Платов и основание г. Новочеркасска», «Типы донских казаков и особенности их говора», «Войсковой круг на Дону как народоправление».

Через три года после опубликования «Истории казачества», уже в разгар гражданской войны, Савельев издал свой труд под новым названием «История Дона и донского казачества».

Евграф Петрович Савельев оставил заметный след в культурной жизни Донского края. □

Юрий СЕНТЯБРЕВ

Первый биограф Боккаччо

По прихоти судьбы в этом году соединились две неравнозначные даты. 680 лет назад в Париже родился будущий великий итальянец Джованни Боккаччо. А 540 лет спустя в небольшом городке Варнавине появился на свет будущий писатель Алексей Алексеевич Тихонов-Луговой. Имена эти встретились на обложке книжечки, изданной сто лет назад в павленковской биографической серии «Жизнь замечательных людей».

Имя итальянского писателя ныне знает каждый. Большими тиражами выходит «Декамерон». Реже, но все же издаются другие произведения. А вот чтобы представить современному читателю Тихонова-Лугового, придется побеспокоить коварную реку забвения — Лету.

Детство и молодость Алексей Тихонов провел в уездном городке Царевко-кокшайске (ныне город Йошкар-Ола). Потом он любил вспоминать отца, богобоязненного кутилу, своих учителей-гувернантов, особенно юного немца из Ганновера, открывшего ему мир музыки и божественной латыни. Мальчик рано развился, усвоил несколько языков и ко времени поступления в Казанскую гимназию уже был умудрен Шекспиром, Дарвином и Гете.

Писательствовать начал поздно, сначала легко на его плечи купеческое наследство отца. Владел винокурным заводом, торговал льном и хлебом, покупая оные в Вятке и Перми. Но творческая натура свое брала, а торговля хирела. Наконец, коммерческий суд объявил Тихонова несостоятельным должником. Он вынужден был пойти на частную службу, а досуги полностью отдал литературе.

У отца (мать умерла рано) их было двое: Алексей и младший брат Владимир. Оба выбрали писательскую стезю, шли в литературе рядом, то и дело ревниво оглядываясь друг на друга. Алексей сразу и навсегда обзавелся псевдонимом — чтобы не путали с братом. Если интересовались, деловито объяснял, что псевдоним взят от лугового берега Волги, где стоит Казань. Не стало купца Тихонова, но зато появился писатель Луговой.

Работал он в литературе плодотворно. Писал стихи, романы, повести, пьесы, статьи и очерки. Трудно найти жанр, в котором бы не попробовал себя Луговой. Многие из написанного им автобиографично. Не обладая большим художественным дарованием, Луговой тем не менее преданно и честно служил в литературе, священнодействовал в ней. Подробности этого служения отражены в повести с характерным названием «Умер талант».

Это была натура подвижническая. Увлечшись однажды личностью мексиканского царя Максимилиана, Луговой потратил несколько лет на сочинение стихами политической трагедии, где обреталось около 140 персонажей. Напечатать из нее автор сумел только первые две картины.

Написанное Луговым, да и то не все, составило 12 томов сочинений. Один из критиков так писал: «Оригинальным автором... прошел Луговой по современной улице литературы, строгий и серьезный, никогда не улыбающийся, благочестивый среди торгашей во храме...» Вот чью фамилию обнаружил я на старой павленковской книжечке: «А.А.Тихонов. Дж. Боккаччо. Его жизнь и литературная деятель-

ность. Спб., 1891». Впрочем, поначалу два этих писателя никак не хотели признаваться «в родстве». В известных мне библиографиях Лугового этот очерк не упоминается. И в 12-томнике я его тоже не обнаружил. Может, Луговой тут ни при чем? Мало ли Тихоновых на белом свете?

Но вот однажды попала на глаза коротенькая автобиография Лугового, написанная им по просьбе чешского переводчика А.Г.Стина, а у нас напечатанная только в малотиражном журнале «Русская литература» (1976, №1). Луговой упоминает там, что в конце 1890-го года ему в руки случайно попало французское издание «Декамерона». Он перевел из него несколько новелл, а также биографию автора. Но ведь тогда же, в 1891-м, вышла и павленковская книжечка А.А.Тихонова. Уже, что называется, горячая. Маловероятно, чтобы в одно и то же время объявились два Тихонова, увлекшихся Дж. Боккаччо. Вот только биография, изданная Павленковым, это вовсе не перевод с французского, а оригинальный очерк, написанный на основе нескольких иностранных источников. Автор добросовестно их называет. К тому времени он уже давно подписывался псевдонимом «Ал. Луговой». Почему же очерк о великом итальянце вышел под «купеческой» фамилией, словно бы автор невысоко ставит его достоинство? С уничтожительной оценкой очерка нам сегодня согласиться трудно.

Дело в том, что эта биография Дж. Боккаччо открыла великому итальянцу дорогу в Россию. До 1891 года о «Декамероне» у нас знали только по отдельным новеллам, а о жизни и творчестве его автора почти ничего не было написано. Истины ради следует назвать только небольшую биографическую заметку. В.Чуйко в журнале «Огонек» (1882, №20). И вот в количестве 8100 экз. отдельным изданием появляется популярная биография писателя, составленная по новейшим зарубежным источникам и адресованная юношеству. В том же 1891-м замечательный русский филолог Александр Николаевич Веселовский обнаружил полный перевод «Декамерона». Вслед за этим журнал «Вестник Европы» опубликовал его очерк «Учителю Боккаччо». А еще два года спустя на свет появился двухтомный труд Веселовского «Боккаччо, его среда и сверстники». Великое явление мировой культуры — Джованни Боккаччо и его «Декамерон» — вошло в плоть и кровь культуры русской. А начало этому было положено скромной 79-страничной книжечкой А.А.Тихонова-Лугового. □

г. Екатеринбург

Николай МЕЗЕНИН
**Князь
 Сан-Дonato**

ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ

Анатолий Николаевич Демидов родился во Флоренции, скончался в Париже, на Урале не бывал. Большую часть жизни провел в Европе. Наследником стал в 16 лет, заводскими делами занимался его старший брат Павел. Анатолий в это время учился, вел жизнь светского человека, меценатствовал, пополнял коллекцию отца, собрал и свою в Италии и Париже.

В 1830-е годы в Париже Демидов пережил тяжелую сердечную драму. Его возлюбленная, актриса Джюльетта Друэ, собиравшая его покинуть. Эта особа вращалась в кругах парижской богемы. Цинизм, царивший в мастерских художников, развратил ее, она заводила себе новых любовников. Андрэ Моруа в биографии Виктора Гюго сообщает: «Наконец появился богатейший князь Анатолий Демидов, красивый бешеный сумасброд, не расстававшийся с хлыстом: в 1833 году этот покровитель Джюльетты роскошно обставил для нее великолепные апартаменты на улице Эшикье». Джюльетта между тем вела жизнь куртизанки.

Летом 1834 года актриса оставила Демидова, его особняк и переселилась в крошечную квартирку на Райской улице. В течение последующих пятидесяти лет Джюльетта будет другом, наперсницей, по сути второй женой Виктора Гюго. Как, однако, причудливо переплетаются судьбы людей!

Однажды Анатолий Николаевич заинтересовался развитием горного дела, снарядил экспедицию для изучения Южной России и Крыма под начальством Ле-Пле. Весьма нелестную характеристику этому начинанию оставил известный русский зоолог В.О.Ковалевский в письме к брату от 12 февраля 1870 г.: «Мне бы хотелось... поздною осенью, т.е. в декабре ехать в Крым и... просто описать юру и меловые формации Крыма: кое-что, что известно до сих пор, равняется почти ничему, хотя Вернейль был там и еще какая-то подлая экспедиция Анатолия Демидова с целой стаей французских учёных, но путного они ничего не сделали».

Весной 1840 года наследником старшего брата остался малолетний сын Павел, от имени которого действовали опекуны и мать Аврора Карловна. Главную роль стал играть Анатолий Николаевич. Опасаясь попустительства местных приказчиков, он больше доверял управителям со стороны и



организовал в Париже совет из особо доверенных лиц. Они сочиняли бесконечные инструкции для Петербурга и Нижнего Тагила, которые свидетельствовали о слабом знакомстве их авторов с местными условиями.

**ПОКРОВИТЕЛЬ
 ХУДОЖНИКОВ**

Искусствовед Г.К.Леонтьев, биограф Брюллова, пишет, что Анатолий Николаевич «при всей избалованности несметным своим богатством, при всей необузданности натуры, был человеком искренне заинтересованным в успехах отечественного искусства... меценатом в лучшем смысле слова». Он дружил со многими художниками и скульпторами, особенно с Карлом Брюлловым, которому он заказал за сорок тысяч франков картину «Последний день Помпеи». Несколько русских юношей обучались на средства Демидова искусству в Риме. Сохранилась их переписка. Одно из этих писем А.Н.Демидова помогло историкам установить, что Брюллов ездил в Болонью и Венецию «на совет» к старым мастерам и после этого внес в свою картину существенные изменения.

Был Демидов и заказчиком многих портретов кисти Карла Брюллова. В Третьяковской галерее хранится написанный маслом этюд и рисунок, а в Русском музее — эскиз портрета А.Н.Демидова. Судьба самого полотна долго оставалась неизвестной. Однако в 70-х годах выяснилось, что портрет Демидова был передан последними владельцами виллы Пратолино в дар городу Флоренции. На полотне — вздыбленная лошадь и внезапно осадивший ее всадник. Картина писалась долго. После первых набросков художник охладел к портрету и оставил его на два десятка лет. Демидов в письмах неоднократно просил Брюллова закончить работу. Полагаю, что заказчик и мастер встречались, поскольку портрет в конце концов оказался у

наследников Демидовых. Карагеоргиевичей, которые и передали его во флорентийскую галерею Питти. Там брюлловскому портрету отведен специальный зал. Экспонируются и другие произведения из демидовской коллекции. «Демидовский зал» украшают также несколько предметов мебели, в том числе великолепные махитовые стол и два кресла.

Карл Брюллов в начале 1850-х годов написал акварельный портрет А.Н.Демидова. Хранится он в мемориальном музее на о. Эльба, созданном на средства мецената. Акварель очень выразительна. Грустные и усталые светлые прозрачные глаза, от бывшего задора ничего уже в них не осталось...

Анатолия Демидова рисовали и другие художники. В 1863-м Эжен Делакруа, автор знаменитой «Свободы на баррикадах», в парном портрете изобразил Демидова и французского дипломата Шарля де Морнэ. В 1856-м французский художник писал по заказу Демидова «Странствующих арабов» и получил за картину 3000 франков, о чем аккуратно записал в своем «Дневнике». Тогда же художник писал для Демидова эскиз «Овидий среди скифов».

**КНЯЗЬ
 САН-ДОНАТО**

Отец Анатолия — Николай Никитич — жил как князь. Сын решил и впрямь стать князем. При наличии капиталов и знакомств это ему не составило труда. В те времена мелкие итальянские и германские государи охотно и прибыльно торговали аристократическими титулами. Анатолий Николаевич приобрел близ Флоренции княжество Сан-Дonato и отстроил там роскошную виллу. Он вошел в дружеские отношения с великим герцогом Тосканским Леопольдом, во владении которого находилось его роскошное имение, и за два миллиона рублей купил у приятеля титул князя Сан-Дonato.

Пользовался Анатолий Николаевич также и отцовской виллой близ местечка Пратолино, тоже недалеко от Флоренции. В 1887-м году в Италии вышла книга с описанием демидовских вилл Сан-Дonato и Пратолино. В описании впечатляет ценная коллекция художественных произведений, которая располагалась в коридоре Пажеского корпуса. Картины висели по обе стороны, а между ними на высоких мраморных консолях стояли бюсты. Под картинами размещались шедевры мебельного искусства. Особый зал был отведен фламандской живописи. Великолепно убранство Большого салона, тоже заполненного статуями и увешанного картинами. Прекрасна библиотека с огромным парадным портретом А.Н.Демидова кисти К.Брюллова.

Память о демидовских временах хранится и поныне в названиях станций уральской горно-заводской железной дороги, открытой в 1876 году. Она шла от Екатеринбургa через Нижний Тагил, р. Чусовую до Перми. Первая станция на тагильской земле была названа Анатольев-

Продолжение. Начало:
 1991 №№7, 8, 10, 12; 1992 №№2, 7; 1993



ской, а станция севернее Тагила получила название Сан-Донато.

Богач-меценат и литератор, Анатолий Николаевич находился в центре внимания флорентийского общества. Интересны воспоминания ректора и профессора Петербургской Академии художеств Ф.И.Иордана о своей встрече с В.В.Стасовым. Будущий художественный критик и историк искусств служил тогда секретарем у А.Н.Демидова и ведал его флорентийской библиотекой. «Изысканность его лукулловых обедов изумляла меня», — писал молодой профессор. Сам хозяин этих пиров ничего не ел, но всякое блюдо подносилось ему для пробы.

Демидов всеми силами старался походить на Петра I, полагая, что чем-то на него походит, так как прапрабабка Демидова, угощая великого императора водкой, пользовалась его вниманием. Демидов одевался и причёсывался под Петра Великого. Он даже объявил конкурс среди художников на тему «Деяния Петра I».

ПРИНЦЕССА МАТИЛЬДА

В 1841 году А.Н.Демидов женился на племяннице Наполеона Бонапарта принцессе Матильде де Монфор, известной своим вольным поведением. Несколько лет совместной жизни были бурными, и когда Демидов избил супругу хлыстом, она обратилась к императору Николаю I с жалобой и требованием развода. Развод был разрешен при условии выплаты достойной представительнице рода Бонапартов огромного ежегодного содержания. После развода она прожила еще почти 60 лет и получила с тагильских заводов более трех миллионов рублей.

Принцесса Матильда занимала в обществе хорошее положение. С ней переписывался Флобер, ее имя постоянно упоминается в «Дневнике» братьев Гонкур. Вместе с И.С.Тургеневым она уговорила Флобера стать хранителем парижской публичной

библиотеки. Отношение к ней великих современников неоднозначно. В начале знакомства с Матильдой братья Гонкур писали в «Дневнике»: «Принцесса — настоящая современная женщина, артистическая натура». Позже следует более трезвая оценка: «Ее хорошая и дурная сторона состоит в том, что она не вполне цивилизована».

ПОСЕЩЕНИЕ РОССИИ

Изредка А.Н.Демидов навещал Россию. Сохранилось свидетельство А.В.Никитенко о петербургских годах Анатолия Демидова. 8 февраля 1843 года проводился литературный вечер в пользу казанских студентов. Удалось собрать немалую сумму, потому что многие платили за билеты больше их стоимости. В числе богачей упоминается и Анатолий Демидов, купивший один билет за 250 р.

«Адрес-календарь» за 1856 год так представляет А.Н.Демидова: действительный статский советник, состоит при посольстве в Вене; президент Императорского минералогического общества в Петербурге; почетный член Императорской Академии художеств, университетов С.-Петербургского и Харьковского, публичной библиотеки; основатель и потомственный попечитель Демидовского дома призрения трудящихся и потомственный попечитель детской больницы в С.-Петербурге.

Для «Демидовского дома призрения трудящихся» Демидов пожертвовал более полумиллиона рублей. Он же основал Николаевскую детскую больницу, на которую вместе с братом Павлом выделил 200 тыс. руб. Он же финансировал путешествие по России французского художника Дуранда в 1837 году, который составил потом роскошный альбом, изданный в Париже.

И сам Анатолий Николаевич оставил несколько книг о своих путешествиях. За одну из них он отмечен Демидовской премией (1846), учрежденной его братом (от денег отказался в пользу фонда). На о. Эльба он купил летнюю резиденцию Наполеона, и этот мемориальный комплекс сохраняется в Италии до сего дня.

БИБЛИОТЕКА В ТАГИЛЕ

31 декабря 1853 года Андрей Николаевич Карамзин, управляющий заводами Нижнетагильского горного округа, отдал конторе распоряжение открыть библиотеку, «чтобы дать возможность служащим при заводах употреблять с пользою свободное от их занятий время». Книги начали выдавать читателям уже в январе следующего года. Основу фонда составило собрание, присланное Анатолием Николаевичем, а также книги из библиотеки Выйского училища. Библиотекой, согласно «Уставу», пользовались служащие заводоуправления, священники и приказчики других заводов горного округа.

Разными путями попадали книги в демидовское собрание. Штамп библиотеки

Нижнетагильских заводов стоит, например, на двух французских книгах, принадлежащих князю С.П.Трубецкому, «диктатору» декабрьского восстания 1825 года. Возвращаясь из тридцатилетней сибирской ссылки, Трубецкий был гостем Анатолия Николаевича.

Первым библиотекарем в Тагиле был Адольф Янушкевич, польский демократ, политический ссыльный, поклонник вольнолюбивой поэзии А.Мицкевича, а также идей русских декабристов. За участие в вооруженном восстании в Варшаве 1830 года Янушкевича приговорили к смертной казни, которую позже заменили поселением в Сибири. Осенью 1852 года его брат-эмигрант встретился в Карлсбаде с Анатолием Николаевичем, который решил принять участие в судьбе ссыльного поляка. Янушкевич переехал из Омска в Нижний Тагил, был определен помощником библиотекаря и прожил здесь более трех лет.

Когда библиотека стала собственностью Павла Павловича, племянника А.Н.Демидова, в ней насчитывалось 6902 книги. В 1880 году ее распродали с аукциона. Краевед А.Анушкин полагает, что на основе фондов этой демидовской библиотеки был составлен «Систематический каталог библиотеки наследников П.П.Демидова, князя Сан-Донато» (1898). Из каталогов видно, что уральское собрание Демидовых насчитывало свыше 2600 редких русских книг, в том числе 462 книги XVIII в. Среди них прижизненное издание сочинений М.В.Ломоносова, редкие издания А.Н.Радищева, К.Ф.Рылеева, Вольтера, Руссо.

Тагильский краевед В.Чудовский сообщал, что остатки библиотеки в количестве 8250 томов, составляли к 1925 году библиотеку краеведческого музея. Три года длились поиски других книг. Полсотни ящиков с частью тагильского архива поступало из склада металлургического треста. В них оказалось около 1100 томов сан-донатовской библиотеки. Более 9 тыс. томов извлекли из подвалов бывшего главного управления Демидовых — остатки заводской библиотеки, в их числе сан-донатовские книги. Часть книг и рукописей демидовского собрания была передана в Уральский институт в Свердловск.

В хранилищах Тагила, Екатеринбурга, учебных заведений страны и сейчас встречаются книги этого каталога. Десятки томов с экслибрисом Демидовых находятся в библиотеке краеведческого музея-заповедника в Нижнем Тагиле. В 1985 году она разместились в заново отремонтированном отдельном двухэтажном особняке по улице Уральской, 6. Исследователи в процессе поэземлярного просмотра фондов редких книг ряда хранилищ Свердловской области выявили более полутора тысяч томов русских изданий XVIII в. с рукописным экслибрисом Выйского училища.

На снимках:

А.Н.Демидов в детстве;
А.Н.Демидов, князь Сан-Донато
(с портрета К.Брюллова);

Фоторепродукции
Ивана КОВЕРДЫ

Виталий ВОЛОВИЧ



«Старый Таллинн»

Из цикла работ



«Переславль-Залесский»

«Женщины и монстры»

ВЕРНИСАЖ
«Уральского слепопыта»



Иллюстрации Евгении СТЕРЛИГОВОЙ

Роман
Грановин

БРОНЗОВЫЙ МАЛЬЧИК

РОМАН
Часть первая

ТЕНЬ ФРЕГАТА «РАФАИЛ»

КОЕ-ЧТО ОБ ОТЦАХ И ДЕТЯХ

В комнате деда висела над письменным столом карта полушарий. Небольшая, чуть шире развернутой газеты. Желтовато-серая, с мелкой россыпью названий и бледными очертаниями материков. Очень потрепанная — с протертыми до холщовой подкладки сгибами, с неровным, как осколочные пробоины, дырами на пересечении этих сгибов. Вверху было написано: «Изображение Земнаго Шара Совключениемъ новѣйшихъ открытій. С^т-Петербургъ 1814».

Дед однажды объяснил Кинтелю, что карта осталась от важного чиновника, который жил в этом кирпичном двухэтажном доме в давнее-давнее время. Напечатали карту в том году, когда Александр Сергеевич Пушкин учился в школе, которая называлась лицей, а русская армия разгромила Наполеона и вошла в Париж.

— И было еще много неоткрытых островов и земель. Видишь, даже Антарктиды тут нет, пустое море...

Пятилетний Кинтель уже знаком был с Пушкиным — по сказкам. Слышал кое-что и про войну с Наполеоном. Знал и об Антарктиде: это большая ледяная страна, где поселок Мирный и пингины (а белых медведей там нету). На нынешних картах Антарктиду рисуют внизу, в отличие от похожей по названию Арктики, которая наверху...

Когда дед ушел, Кинтель решил исправить географическое упущение. Взял синий карандаш, помусолил его и собрался изобразить шестую часть света, как подсказывала фантазия. Однако нижний край карты висел у самой кромки стола, рисовать неудобно. И Кинтель, сидя на столе, как в песочнице, отвлекся, начал разбирать мелкие букочки названий.

В верхней части Африки с частыми веснушками клопных и мушиных следов он прочитал: «Сахара или Песчан. степь». Кинтель знал, что Сахара — громадная. Надпись же была до обидного маленькая, не соответствовала масштабу

великой пустыни. И Кинтель (помусолив карандаш заново) вывел жирными печатными буквами: САХАРА.

Он заканчивал последнюю «А», когда вошла бабушка. Кинтель был снят со стола за штаны и воротник, награжден шлепком и отправлен в угол с приказом стоять и размышлять о своем пакостном поведении. Кинтель был человек спокойный и разумный. Он понимал, что в этом случае бесполезно сопротивляться и хныкать. Такое на бабушку не действовало. Действовало когда-то на маму, но мама полгода назад уехала в очень долгую командировку и неизвестно когда вернется. Поэтому Кинтель стал стоять и размышлять. Но не о поведении, которое считал не пакостным, а разумным (только бабушке это не объяснишь). Он размышлял о названии «Сахара», похожее на «сахар». Нетрудно было предположить, что пустыня (или «песчан. степь») покрыта сыпучим сахаром, который тоже называется «песок» (бабушка часто досадовала: «В гастронOME с утра песок давали, а я опять прозевала»). От этого пустыня — белая и слепящая, как снежное поле, только там не мороз, а, наоборот, — страшная жара. От жары и липкой сладости хочется пить... Кинтель стоял, облизывался и вздыхал.

Конечно, Кинтель был не так глуп, чтобы всерьез поверить, будто песок в пустыне — сахарный. Просто придумалось такое. И он не стал делиться этой придумкой ни дома, ни в детском саду. Ни с кем — ни с Алкой Барановой, ни даже с лучшим приятелем Рафиком. По тому что мало ли кто как отнесется, вдруг начнут хихикать и дразнить. Кинтель этого не терпел, хотя обиду показывало редко. Он был сдержанный и деловитый.

Дед так и сказал отцу, когда тот забирал Кинтеля к себе:

— Он человек рассудительный и ответственный, у вас хлопот с ним не будет.

Бабушка умерла летом, когда Кинтель был на детсадовской даче. Его привезли утром в день похорон, и неживая бабушка показалась ему чу-

жой, неприступно-строгой. Она словно обиделась на всех в этом мире и лежала теперь как бы отгороженная невидимым, но непрошибаемым стеклом. И подходить к ней было не то чтобы страшно, а просто бесполезно...

Среди общих вздохов, сдержанных слез, приглушенных голосов и сладкого запаха цветов и хвои Кинтель ощутил себя потерянным и никому не нужным. Он не испытывал большого горя, потому что (если уж до конца честно говорить) бабушку любил не очень сильно, побаивался. Но его давила горькая досада и угнетало первое понимание, что бывают в жизни события, перед которыми бессильно даже множество взрослых людей. События, которые переворачивают жизнь, никого не спросив об этом.

Дед с отцом говорили, что Кинтелю нужен женский глаз, тем более, что мальчику скоро в школу.

— Ты теперь человек семейный, Лиза у тебя женщина разумная, а из меня какой воспитатель... — доказывал дед.

— Ладно, — вздохнул отец. — Укладывай чемодан, Данила.

Данила, Даниил, Даня — это было настоящее имя Кинтеля.

Отец жил на другом конце города, в поселке под названием Сортировка. В этом районе как раз построили новую школу и объявили, что это будет не простая школа, а гимназия, и станут в ней учить всяким искусствам и нескольким иностранным языкам. Для такой школы и ученики требовались особые. Брели не всякого, а по конкурсу. Тетя Лиза обрядила Даню в костюмчик ярко-желтого цвета, и отец повел свое чадо на экзамен, который назывался «со-бе-се-до-вание».

Долго ждали в коридоре, потому что ребят и родителей собралось много. Очень многие мамы и папы хотели, чтобы их дети стали гимназистами. Наконец строгая учительница позвала из-за двери: «Даня Рафалов!» Отец остался, Даня вошел. Спросили о том, о сем: где живет, любит ли рисовать, нравится ли ему в детском саду и где работают мама и папа. Даня неторопливо объяснил, что папа работает инженером в строительном-монтажном управлении номер одиннадцать, а мама не вернулась из командировки и «видимо, у нее теперь другая семья». Дяденька и две тетьки за столом переглянулись. Дали книжку «Рассказы о животных», попросили почитать вслух. Даня слегка удивился, стал читать про попутая ару, который живет в тропических джунглях.

— Хватит, — сказала пожилая тетя. — Молодец. — И обратилась к другим: — Это явно не детсадовский уровень.

— Кто тебя научил так читать? — спросил дядя в очках.

Кинтель слегка растерялся:

— Я... не знаю. Никто...

— Как никто? — недовольно сказала полная тетя с красивым, только чересчур гладким и розовым лицом. — Кто-то же занимался с тобой? Папа, бабушка?..

Кинтель пожал плечами и уставился в пол. Не знал, как сказать. Ему всегда казалось, что умение читать — это с рождения. Ну, или с самого раннего возраста, как умение ходить и говорить. Само собой прививается. Правда, бабушка и дедушка в давние времена показывали Кинтелю на карте разные буквы и слова. Но насколько он помнил, это было лишь для того, чтобы объяснить: старинная «ять» произносится так же, как «е», а на твердый знак в конце слова вообще не надо обращать внимания. В общем, было что-то вроде игры, а читать он и тогда вроде бы умел так же, как сейчас...

И вот он стоял и смотрел себе под ноги. И, наверно, выглядел туповато. Потому что розовая тетя вполголоса сказала:

— Типичное дитя из неполной семьи... Ну и что же, что техника чтения хорошая? А в остальном явный дебил.

К несчастью, Кинтель знал, что такое дебил. Элла Аркадьевна в детском саду это слово говорила часто. И сейчас Кинтель не то чтобы обиделся, но решил уточнить. Все расставить по местам. Маленький, аккуратно причесанный, в своем канареечном костюмчике и белых гольфах, он переступил на ковре новыми лаковыми башмачками и сообщил со вздохом:

— По-моему, вы не правы. По-моему, вы сами дебилка.

Ну, и пошел мальчик Даня из школы-гимназии. Вернее, вприпрыжку двинулся за отцом, который молча и размашисто шагал к дому, ухватив сына за кисть руки.

У себя в комнате отец достал из ящика стола длинную блестящую линейку и подбородком указал на диван:

— Ну-ка, укладывайся...

Кинтель посопел, почесал о плечо щеку. Снял и аккуратно поставил рядышком лаковые башмачки. Ладонью смел с диванного пледа крошки и деловито улегся на живот, стараясь не помять парадную одежду. По опыту он знал, что спорить с жизненными обстоятельствами, когда они явно сильнее, не имеет смысла. А пускать слезы и просить прощения он считал унижительным. К тому же, спеша по тротуару за отцом, он успел поразмыслить и пришел к выводу, что назвал розовую тетю дебилкой зря, это был явный промах. А за промахи приходится расплачиваться.

Улегшись, Кинтель сбоку поглядывал на отца и старался угадать: как тот поступит? Станет хлопать линейкой по штанишкам или по голым

ногам? В последнем случае боль будет липкая и горячая, придется мычать и дергаться, чтобы не зареветь во весь голос. Эльза Аркадьевна в детском саду тоже воспитывала провинившихся линейкой, такой же, и всегда старалась впечатать по голому. Правда, Кинтелю при его спокойном характере доставалось не так уж часто, а вот приятель Рафик то и дело зарабатывал «блинчики»...

Отец подышал на линейку, потер ее рукавом рубашки, и Кинтель зажмурился, приготовившись к худшему. Но тут в комнате появилась теть Лиза. И закричала на отца. Как, мол, не стыдно поднимать руку на маленького! Да почти что на сироту, к тому же!.. Где это он грубил, что такое сказал?.. Ну и правильно сказал, если эта дура с первой минуты накидывается на незнакомого ребенка!.. Ну и проживет он без этой гимназии, свет на ней клином не сошелся!..

Она подняла Кинтеля, вынесла его из комнаты, а сама осталась доругиваться с отцом.

Кинтель был, конечно, рад такому повороту. Но особой благодарности к тете Лизе не ощутил. Потому что кричала она слишком громко и усердно. Словно старалась показать: вот я, хотя и мачеха, а жалею мальчика, даже отцу не дала в обиду.

Кстати, никакой обиды на отца Кинтель и не чувствовал. Отец в ту пору казался ему (видимо, с непривычки) существом верховным, выше критики и сомнений. Со временем это ощущение, конечно, рассеялось, но было уже поздно: привязаться к вечно занятому и раздражительному папе Кинтель так и не сумел.

Теть Лиза была добрая. Иногда покрикивала, но не обижала и заботилась. Лишнюю домашнюю работу не навьючивала, а от нелишней Кинтель сам не прятался. На рынок бегал, ковры пылесосил и даже кашу варил маленькой тети Лизиной дочке.

Девочку звали увесистым взрослым именем Регина. Когда теть Лиза вышла за отца, Регишке было два года. Она стала теперь для Данькиного отца как бы дочерью — значит, сестренкой Кинтеля. И он это принял как должное. Нельзя сказать, чтобы очень полюбил ее, но возиться с ней не отказывался, играл, в детский сад водил. И не прогонял Регишку от себя, если даже та надоела. Потому что чего с нее возьмешь, с несмышленной... И пожалуй, о ней-то, о Регишке-мартышке, он только и грустил, когда ушел из отцовского дома.

Но случилось это лишь через четыре года, когда Кинтель закончил начальную школу.

А в том году, после «со-бе-се-бо-ва-ния», в школу он так и не пошел. Вернулся в детский сад, только уже не в старшую группу, а подготовительную. И оказалось, что ничего не потерял,

по крайней мере во времени. Учили здесь тому же, чему в первом классе, и сказали, что потом ребята пойдут в начальную «трехлетку», а после нее — сразу в пятый класс и там догонят тех, кто сейчас, в свои шесть лет, сделался первоклассником (так потом и получилось). Эльзы Аркадьевны в детском саду уже не было, ее уволили, всезнающая Алка Баранова сообщила, что это — за линейку. Потому что в том году началась перестройка, при которой лупить детей в садиках не полагается (разве что слегка хлопнуть ладонью).

Жаль только, что Рафика уже не было: он поступил в английскую спецшколу, и пути их с Данькой разошлись...

После детсада в школу-гимназию Кинтель, конечно, не пошел, пошел в «обычную». И слава Богу, хлопот меньше. Ребята в классе были, правда, чересчур бестолковые и гвалтивые, не такие, как в садике. Но Кинтель пообщился, привык. Тем более, что учительница Вера Дмитриевна была спокойная, кричала редко и совсем не дралась.

Кстати, именно в школе Кинтель получил свое прозвище. До этого он дома был Даней и Данилой, а в садике или на улице — Рафиком. Из-за фамилии. Их с приятелем так и звали: «Рафик Черный и Рафик Белый» (хотя, по правде говоря, Данька был не белый, а светло-русый).

В школе же получилось так. В начале первого класса было собрание, на котором полагалось рассказывать о своих мамах-папах и прочих родственниках. У кого из них какие профессии. Даня про отцовскую работу в СМУ почти ничего не знал, а что касается мамы, то незадолго до того, в августе, пришло сообщение о катастрофе. К тому, что мамы с ним нет, Кинтель давно привык и при том известии даже не заплакал, только полдня молча просидел в уголке... А сейчас, на собрании, он стал рассказывать о деде:

— Мой дедушка был моряком...

— Врешь ты! — заявила вредная Нинка Сареева. — Моя мама знает твоего дедушку. Он работает в больнице и заведывает кадрами...

— Ну и что! Это сейчас в больнице, а раньше плавал на теплоходе «Донецк» по океану. Он был корабельный врач. У него карточка есть, он на ней в капитанской фуражке и в белом кинтеле...

Ух как все возвеселились!.. Вот так и бывает — ошибешься по малолетству в одном слове и ошибка остается с тобой на всю жизнь...

Даня уже знал, что если тебе всей толпой приклеивают прозвище, спорить не имеет смысла. Это как раз то жизненное обстоятельство, с которым не повоюешь, надо принимать его как есть. И первоклассник Даня Рафалов принял. Тем более, что причина скоро забылась, а само

по себе новое имя было совсем не плохим. В нем чудилось даже что-то морское: шкентель, вентиль, бензель, трюмсель... Данька за три года настолько привык быть Кинтелем, что ничуть не удивился, когда прозвище перекочевало за ним в новую школу. Вышло это вот почему: в классе, куда Кинтель попал после переезда, училась Алка Баранова, хорошая знакомая по детсаду. Она знала все про всех. И тут же сообщила пятиклассникам, как зовут новичка...

В этой школе Кинтель оказался «по семейным обстоятельствам» (так дед написал в заявлении). Случилось вот что. Был уже конец августа, Кинтель помаленьку готовил учебники и тетради, а тетя Лиза все охала, что никак не может купить школьную форму. Кинтель успокаивал: форма нынче в школах не обязательна. Это услышал отец. Он и вообще-то никогда не был особенно ласковым, а в те дни ходил особенно раздражительный: то ли на работе не ладилось, то ли с тетей Лизой чего-то не поделил. Придирался и к ней, к тете Лизе, и к пятилетней Регишке, и, само собой, к Даньке. И тут он тоже ввязался:

— Посмотрите-ка, форма ему не нужна! Охота быть разгильдяем снаружи и внутри! Наглядься на всяких хиппи, да? Сам такой же!..

Кинтель ровно, без всякой скандальности, поправил отца:

— С чего это я такой же? Ничуть не похож.

— Не похож? Погляди на себя! Зарос, как леший в чертовом урочище! Парикмахерская в двух шагах, а тебе все лето лень туда сходить!

Выгоревшие волосы у Кинтеля и правда отросли, закрывали уши и шею, но ведь у всех так в конце лета. Он объяснил, что перед первым сентября сходит и подстрижется. О чем тут шуметь?

— Не к первому сентября, а немедленно! Лиза, дай ему рубль! И марш!..

Те времена, когда Кинтель подчинялся безропотно, миновали. Он и в нынешнюю пору старался зря не спорить, но все же умел возражать, если сталкивался с чем-то совсем неразумным.

— Всего же неделя осталась. Тридцать первого схожу. А сейчас у меня и без того куча дел...

— Ты еще разговаривать будешь?! Дискуссию, как в парламенте, устраивать? Не-ет, я тебе отец, а не девочка-вожатая в лагере...

Он рывком вывел Кинтеля в прихожую, локтем прижал к себе его голову, схватил с подставки у зеркала ножницы и лязгающими взмахами выстриг в отросших волосах борозду!

— Вот так! Теперь пойдешь, никуда не денешься!

Тетя Лиза, конечно, запричитала. Кинтель вырвался, ушел в ванную. Плакал он редко, но тут,

глядя на себя в зеркало, пролил тихие злые слезы. Потом умылся. Поддернул пыльные, переделанные из старых школьных штанов шорты, заправил под ремешок майку. В коридоре нахлобучил кепку с длинным козырьком и надписью «CAPITAN». Побренчал в кармане мелочью и ушел.

Парикмахерская была окраинная, народу — никого. Кинтель молча забрался на высокий стул перед зеркалом и лишь тогда стянул с головы кепку. Сказал молоденькой, славной на вид мастерице:

— Вот. Что тут можно сделать?

Та не удивилась. Тихонько спросила:

— Кто тебя так?

У Кинтеля опять скребнуло в горле. Но ведь положенную норму слез он израсходовал еще в ванной. И сейчас вздохнул только:

— Папаша психанул... Теперь под машинку, да?

— Ну, нет. Попробуем что-нибудь, постараемся...

И постаралась. Получился светлый симпатичный ежик. Правда, лицо сделалось непривычно круглым и сильно торчали уши, но все-таки было гораздо лучше, чем лысая башка.

— Спасибо большое... — Кинтель полез в карман за деньгами.

— Не надо. Купи себе лучше мороженое. — И она добавила полушепотом: — Когда в горле щекочет, мороженое полезно...

Кинтель так и сделал: постоял в очереди за мороженым (шестьдесят копеек стаканчик), неторопливо слизал всю порцию. Он был спокоен, потому что принял решение.

Отца дома не оказалось. Тети Лизы тоже — ушла к соседке. На глазах у притихшей Регишки собрал Кинтель свою нехитрую одежку, уложил в чемоданчик, с которым в июле ездил в лагерь. Затолкал в ранец учебники и тетрадки. Сказал Регине:

— Ну, пошел я. Не скучай...

И через час приехал к деду, шагнул в комнату, снял кепку:

— Толич, я пришел к тебе...

Имя деда было Виктор Анатольевич, а Кинтель по младенческой привычке звал его «Толич».

Дед — высокий, худой, но с круглым животиком, — встал над Кинтелем, глянул сверху вниз.

— Вижу... А ты чего... такой? Будто из зоны выпущенный.

— Обожди, расскажу по порядку.

— Ну, садись, рассказывай... Ты, видать, с ночевкой прибыл? Время позднее...

— Ты не понял, Толич. Я к тебе насовсем.

Виктор Анатольевич склонил голову набок.

— Да-да... Это как у Ильфа и Петрова: «Я к

вам пришел навеки поселиться...» Читал? Впрочем, едва ли...

— Читал. «Золотой теленок»... Только не по порядку, там скучные места есть... Этот дядька стихами разговаривал и свет не гасил в туалете, его за это выпороли... А почему считается, что это смешная книжка?

— А разве нет? — сдержанно спросил дед.

— По-моему, жалко его...

— Ну ладно. Рассказывай.

Кинтель насупленно поведал, что случилось. И сообщил, что жить у отца больше не собирается.

— Сам видишь, мне теперь или к тебе, или в подвалы...

— В какие такие подвалы?

— Не знаешь, что ли?

Кинтель объяснил, что есть места, где зарастают сорняками фундаменты недостроенных домов. Дома эти начали было возводить, но то ли кирпича, то ли чего другого не хватило, стройки обнесли забором и оставили. Под фундаментами — обширные подвалы. Там обитают ребята, сбежавшие из интернатов и детских домов. А сбежали они, потому что детдомовская жизнь совсем невтерпеж. Сбились в компании, оборудовали в подвалах общежития... Всякие там есть пацаны, но в общем-то ничего, нормальные. Главное, живут дружно, маленьких не обижают. Правда, воровать приходится, чтобы прокормиться...

— Да кто сейчас не ворует, — закончил рассказ умудренный жизнью Кинтель. И добавил, что с некоторыми из тех пацанов знаком, сам бывал в подвалах, носил их обитателям кой-какую еду. Потому что надо же помочь людям, там среди них совсем малолетки есть...

— Знаю я про это, — нахмурился дед. — В исполкоме обсуждали не раз... Какая там жизнь! Придет милиция — и крышка!

— Ну, Толич... Ну, какая милиция! Подвалов знаешь сколько! А милиции даже на преступников не хватает.

— Всю жизнь в подвале не протянешь, — заметил дед. — Когда-нибудь придется выходить, думать, что дальше...

— Вот и я про то же... Толич, я буду спать, где раньше, на маленьком диване. А в школу ты меня запишешь в ту, что на улице Мичурина. Самая близкая, по месту жительства...

— Все разом решил, — хмыкнул дед. — А тебе не жаль со старой-то школой расставаться?

— Не-а... Ее все равно расселяют по разным, кого куда. Потому что на верхнем этаже потолок обвалился после ремонта. Хорошо, что летом, никого не пристукнуло...

Дед, конечно, еще возражал, пробовал уговаривать Кинтеля. Объяснял, что у него, у деда,

жизнь вдовья, одинокая, воспитывать мальчишку, хлопотать о нем ему не с руки.

Кинтель сказал, что воспитывать его ни к чему. А хлопотать о себе он будет сам. И о Толиче заодно. И вообще наведет порядок в доме.

— А то у тебя вон мусор по углам и посуда немытая...

— Отец все равно не позволит, — заметил Виктор Анатольевич. — У него на тебя родительские права.

— А у тебя родительские права на него. Скажи, что не отдашь меня, он послушается.

Отец позвонил около десяти вечера. Видимо, порядком встревоженный и разозленный. Кажется, разговор он начал «не с того оборота», потому что Толич тут же вскипел и заорал в трубку, что «если у тебя что-то задницу скребет, нечего на мальчишке злость срывать! И никуда он не поедет! И не отец ты, а сукин сын! Поразговаривай еще!..»

На следующий день отец явился за Кинтелем лично. Тот, однако, уперся, Толич тоже. Был у отца с дедом крупный разговор, а в конце концов Виктор Анатольевич показал Валерию Викторовичу аккуратно сложенную фигуру... Потом, правда, приутихли, договорились уже по-хорошему.

Дому, в котором жил дед, было лет двести. Двухэтажный, с высокими окнами, с лепными львиными мордами под крышей (которые большей частью отвалились). Раньше, говорят, были даже колонны перед фасадом, но после революции зачем-то их сломали. Другие дома по улице Достоевского (бывшей Купеческой) тоже были старые, но не такие большие, деревянные. Впрочем, к тому времени, когда Кинтель вернулся к деду, на месте многих домов зарастали репейниками пустыри, среди которых местами торчали круглые голландские печки. Потому что года три назад городское начальство распорядилось эти ветхие строения снести и построить здесь новый микрорайон — вроде тех желтых, причудливо изогнутых и ребристых корпусов, которые, как горный хребет, поднимались неподалеку. Но сломать сломали, а строить... К тому же и времена изменились, и начальство было уже другое... И старый каменный дом с облезлой штукатуркой по-прежнему возвышался над низкими крышами, пустырями и косыми заборами... Несмотря на обшарпанный вид, он хранил остатки былой красоты и достоинства...

После смерти бабушки дед обитал в двухкомнатной квартире один. Имелась даже отдельная кухонка. Только ванна была общая, на все три квартиры второго этажа.

В первый же день, когда Виктор Анатольевич

отправился на работу, Кинтель навел в холостяцком жилище порядок. Пропылесосил истертый палас, перемыл тарелки и стаканы, расставил как надо на полках книги (многие он помнил и любил еще с прежней поры). Начистил кухонной пастой древний бабушкин самовар и старинный канделябр на столе у деда. Прибил оторвавшийся угол карты с синей надписью «Сахара». И пыль везде вытер, даже в завитках резной рамы, в которую был вставлен тоже старый, маслом писанный портрет.

На портрете была красивая дама — бабушка Толича. То есть прапрабабушка Кинтеля Текла Войцеховна Винцуковская. Строгая, с гладкой прической, в коричневом платье с высоким кружевным воротничком, она выпрямилась на стуле и держала на колене толстую небольшую книгу с застежками. Наверно, старинную.

Дед говорил про портрет, что он «так себе с точки зрения живописи». Кинтель в живописи не разбирался, портрет ему нравился, несмотря на строгий вид. Потому что Кинтель к нему привык за годы детства. И однажды (давно еще) Кинтель обиженно спросил Толича, почему «так себе».

— От того, наверно, что художник такой. Прямо скажем, не Рембрандт. И не с натуры писал, а с фотографии, в двадцатых годах. Бабушка заказывала в какой-то артели. Говорила: «Вот умру скоро, будет вам память»... Ну, теперь уже дело не в качестве, все равно семейная реликвия.

Фотографию, с которой была написана реликвия, Кинтель тоже видел. Она хранилась в старых бумагах у отца. На снимке прапрабабушка была не одна, справа от нее стояла курносая девочка лет двенадцати в длинном платье с оборками и высоких ботинках. Справа — тонколицый темноволосый мальчик в гимназической форме, с твердой фуражкой в руке. Девочка была мама Толича, прабабушка Кинтеля, мальчик — ее друг детства. Никита, кажется. Он рано умер или погиб. На фотографии рядом с мальчиком (под книгой, которую держала, заложив страницу пальцем, прапрабабушка) было выцарапано: УМ. 1920 г. Дед. Как-то обмолвился: «Мама моя грустила по Никите всю жизнь»...

Художник, может, и не очень талантливый, но старательный. Портрет получился похожий на фотографию. И аккуратный такой, с мелкими деталями. Тщательно прописаны были волосы прически, кружева и даже медные пряжки на книжных ремешках. В глазах блестели желтые точки, отчего взгляд казался живым...

Кинтель почтительно протер холст портрета, изничтожил под ним карбофосом клопное гнездо, открыл окна и решил пройтись. Надо было восстановить контакты с местным населением.

За последние три года Кинтель бывал здесь нечасто, и его наверняка позабыли.

Оказалось, что на улице Достоевского и в окрестных переулках самый главный среди пацанов некий Джула, Кинтелю вовсе даже не знакомый. Этот Джула с тройкой друзей-приятелей повстречался Кинтелю сразу, как тот побрел вдоль пустырей.

— Ты откель такой?

— Жить здесь буду. Во-он там... — Кинтель с деланной беззаботностью мотнул головой в сторону дедова дома.

— Ну-у? — удивился тощий чернявый Джула. — А прописка есть?

— А как же, — спокойно сказал Кинтель, оценивая обстановку.

— Молодец, — похвалил Джула. — куревом балуешься?

— Не-а. Здоровье берегу. У меня хронический оцепилобруцелез.

— Чего? — удивился один из Джулиных спутников, крутлый, как картошка (звали его, как потом выяснилось, Кнопа). Джула тихо цыкнул на него и отозвался с пониманием:

— Дело ясное... А полтинничек найдется? За прописку-то платить надо, за нашу, местную.

«Начинается», — сообразил Кинтель. И сказал:

— Повтори, не слышу.

— Я говорю, полтинничек... — повысил тон Джула.

— Все равно не понял.

— Уй ты какая... — начал заводиться Джула.

— Такой обабок, а...

Кинтель знал, что врубаться в такую компанию надо сразу. Не боясь никакого урона, без оглядки. Иначе потом будет не жизнь... Он произнес не громко, но отчетливо:

— Щас как впечатаяю по... третий глаз в пупу выскочит. И побежишь пятый угол искать в... — И добавил еще несколько слов, от которых у всей компании появилось на лицах озадаченно-почтительное выражение.

— Во дает... — уважительно заметил Джула. — Ты с какой летающей тарелки сюда хлопнулся?

— Да это Данька Рафалов! — сунулся в разговор бледно-рыжий Витька Зырянов, ровесник Кинтеля. — Он здешний, он раньше в нашем доме у деда с бабкой жил...

— И сейчас опять буду тут. Навсегда, — решительно объяснил Данька. — И зовут меня теперь Кинтель. Кин-тель. Такое морское слово...

Твердость позиции оценили. Джула снисходительно сказал:

— Так бы и говорил сразу. А то мы думали «дворянчик», оттуда... — Он косматой головой мотнул в сторону, где желтыми утесами громоз-

дился новый микрорайон. Назывался он у местных жителей «Дворянское гнездо», потому что, по слухам, жили там всякие высокие чины.

— В натуре, что ли, похож? — усмехнулся Кинтель. Знал, что не похож на «дворянчика» в своих мятых штанах, стоптанных полубедах, в серой от пыли майке. Да еще со стрижкой «как у амнистированного».

— Ладно, сойдешь за «достоевского», — признал Джула. Так называли себя пацаны этой улицы и ближних окрестностей...

Словом, все кончилось нормально. Хотя не совсем. Во время этого разговора неподалеку вертелась восьмилетняя сестра Витьки Зырянова. Она скоро наябедничала матери, что соседов внук «во как выражался на улице». А Зырянова напала, конечно, Виктору Анатольевичу.

Перед ужином дед сдержанно сказал:

— Поступили агентурные данные, что ты сегодня на улице поливал местных мальчишек такими словами... что деревья желтели раньше срока. Было?

— Толич, — со вздохом отозвался Кинтель, — а как разговаривать, если сразу карманы трясти начинают? По-французски, что ли? Как виконт де Бражелон с графиней Монсоро?

— Ты — начитанное дитя и, видимо, тертое жизнью. Только не чересчур ли?

Кинтель отозвался философски:

— Жизнь, она ведь не спрашивает, когда трет: чересчур или нет... А про Монсоро я не читал, скучная книжка. Кино видел...

— Ты не увиливай от темы...

— Я не увиливаю. Ты, Толич, наверно, боишься, что я этим самым сделаюсь... трудным подростком и всяким там наркоманом, да? Не бойся, хлопот у тебя со мной не будет.

Виктор Анатольевич, смущенный тем, что внук прочитал его мысли, пробубнил:

— Ну да, «не будет». Сам-то я кефиром и батоном поужинал бы, а теперь вот надо готовить... А вермишель почему-то вся слиплась...

— А ты ее промыл, когда сварилась?

— А разве надо?

— Горе мое, — сказал Кинтель. — Пошли...

На кухне, поливая из чайника дуршлаг с вермишелью, Кинтель напомнил:

— Завтра, как пойдешь на работу, сахарные талоны оставь мне, а то конец месяца, пропадут...

... Все это случилось два года назад, в августе восемьдесят девятого. Потом Кинтель очутился в пятом классе, в который благодаря новой программе попал сразу после третьего. Затем в шестом. Все это время жил он у деда. С отцом вроде бы помирился, но заходил к нему не часто. Лишь для того, чтобы навестить Регишку. И вот наступил еще один учебный год.

В субботу седьмого сентября, в середине дня (потому что учились во вторую смену) семиклассник Данька Рафалов отправился на уроки. Настроение было по погоде. А погода была — лучше некуда. Кое-где по-осеннему желтели клены, но тепло стояло совершенно летнее. Градусов двадцать пять. И небо — без единого облачка.

Такая погода устанавливалась еще в августе, в те дни, когда шумели на площадях митинги, пестрели над головами разноцветные флаги и плакаты, студенты и «афганцы» строили на улице Ленина баррикаду и в воздухе висели слова «переворот», «хунта», «Белый дом». Белый дом, в котором президент России держал осаду, был далеко, в столице, но и здесь, в Краснодарском крае, ощутимо запахло порохом (к счастью, в переносном смысле). Девятнадцатого числа, когда только все началось, дед утром позвонил Кинтелю с работы и велел никуда не соваться из дома.

— Даже за хлебом не ходить?

— Сходишь — и сразу домой!

Кинтель, конечно, поступил по-своему. Полдня шастал по центру, слушал кричащих в мегафон ораторов, помог толпе энергичных мужиков завалить поперек мостовой троллейбус, взяла у волосатого парня десяток листовок и деловито раздал прохожим. Политикой Кинтель не интересовался, но физиономию премьера, часто виденную по телевизору, терпеть не мог. Этот премьер так взвинтил цены на все товары, что соседка тетя Клава Зырянова часа два орала в коридоре и отлупила ни в чем не повинного Витьку. Кроме того, Кинтеля оскорбляла прическа премьера. После истории с отцом и ножницами Кинтель никогда уже не отрачивал длинные волосы, прическа сделалась для него привычной. И вот этот премьер, который устраивал людям всякие пакости то с обменом денег, то с ценами, имел наглость делать себе такую же стрижку, как у Кинтеля. Правда, кинтельский ежик был не в пример симпатичнее премьерского, не такой маленький и торчащий. Но даже малейший намек на схожесть казался Кинтелю возмутительным... И когда люди поднялись против этого типа и всей генеральской компании, захотевшей устроить всеобщее чрезвычайное положение, Кинтель сразу понял, на чьей стороне надо быть...

Дед в тот вечер пришел поздно. Сразу сел настраивать старенькую «Спидолу», поймал радио «Свобода». Потом по шестому каналу ТВ пробились в эфир ленинградская передача с Собчаком и указами российского президента. Дед сказал:

— Ну, слава Богу, блицкриг не получился. Будем надеяться, что ни черта у генеральской сволочи не выйдет... — Потом глянул в черное, с откинутой шторой окно, грустно усмехнулся: — А погода-то сегодня днем была... Над всей Россией безоблачное небо.

«В Москве-то, говорят, дождь», — подумал Кинтель. Но ничего не сказал. Он знал, что со слов о безоблачном небе, прозвучавших по радио (только не в России, а в Испании) начался в Мадриде фашистский мятеж. Давным-давно, когда еще даже деда на свете не было, в тридцать шестом году...

А в Краснодарержинске небо в эти дни и в самом деле было чудесное. Особенно с двадцать первого числа. Двадцатого, в полночь, прогудели, как при учебной тревоге, и дружно остановили работу главные заводы. И на следующее утро небесную синеву не портил ни один дымок...

Правда, через сутки заводы заработали снова, потому что была уже победа. Но небо (видимо, в честь этой победы) оставалось все следующие дни чистым, как синее стекло. И новенький бело-сине-красный флаг в этом небе казался особенно праздничным. Он хлопал на теплом ветру над башней горсовета, над главной площадью города, которому в эти дни срочно вернули старинное имя — Преображенск.

...И сейчас небо над Преображенском было такое же ясное. И ясно было на душе. И Кинтель, посвистывая, свернул в Камышловский переулок. По нему до школы самый короткий путь. Самый короткий — не самый быстрый. Пришлось остановиться. Четверо местных (и Зырянов тут же, и Кнопа — везде их просят!) взяли в полукольцо незнакомого мальчишку. Видать, разбор устраивали: «Кто такой, че тут ходишь по нашей улице? Гони полтину за проход...»

Кинтель с ходу определил, что пацаненок из Дворянского гнезда. Аккуратенький такой, не чета «достоевским» охломонам. Видать, недавно приехал в эти места, записался в здешнюю школу и не знает еще, что ходить туда надо по людной улице Челюскинцев. По переулкам и улице Достоевского для «дворянчиков» путь не безопасен.

Мальчишка был небольшой, судя по всему, пятиклассник. Потому что более младшие классы учились с утра. А шестиклассники и семиклассники, хотя форму и отменили, соблюдают солидность, в шортах в школу не ходят. Кроме нескольких пацанов из скаутского отряда «Былина». Но те всегда при своих нашивках, витых синих галстуках и аксельбантах. А этот в неформенной клетчатой рубашке — яркой, желто-сине-зеленой.

Был у мальчишки и галстук. Пионерский. Дополнительный повод, чтобы не дать человеку мирно добраться до школы. В здешних местах

только Кинтелю позволялось спокойно ходить в красном галстуке. Все знали, что Кинтель делает это из принципа. Точнее, из упрямства. Первого сентября их новая классная, Диана Осиповна, сообщила, что «вопрос о пионерской организации пока не ясен, она в состоянии кризиса, особенно сейчас, при нынешнем отношении к партии». Поэтому лучше, мол, галстуки не носить, что бы школу не обвинили в «излишней идеологизации учащихся»

— Впрочем, это личное дело каждого, — добавила она и поджала губы. В прошлом году учителя еще писали замечания в дневник, если кто был без галстука, а тут — надо же! — перестроились. И Кинтелю стало противно, и с того дня он ни разу не забыл надеть галстук. Даже гладил его каждое утро. Кроме него в седьмом «А» галстуки носили только несколько девчонок, да маленький и всегда вроде бы послушный Ленчик Петраков. Когда к нему пристали было: «У, юный пионер, пережиток коммунизма», он ощетинился, как дикобраз: «Идите на фиг, я клятву давал!» Отступились. А Кинтель зауважал Ленчика. Самого Кинтеля, кстати, не трогали, будто галстука на нем не замечали, только Алка Баранова хмыкнула пару раз...

Может, этот пацан, прижатый к забору, такой принципиальный, как Ленчик? К галстуку потянулись, мальчишка молча отмахнулся. Он прикусил нижнюю губу и переводил с одного врага на другого зеленые, широко посаженные глаза...

Среди всяких недостатков у Кинтеля был один очень досадный: слабая память на лица. Вот и сейчас показалось, что вроде бы встречал этого мальчишку. Но где, когда? Может, нынешним летом, когда был в лагере «Голубая стрела»? Там десять отрядов, каждого не у помнишь. Впрочем, неважно...

Кинтель подошел, плечом отодвинул бестолкового Витьку Зырянова.

— Ша, братва. О чем базар?

Джулы не было, самый большой тут — Эдик Дыханов, чуть постарше Кинтеля. Дых сказал с ухмылкой:

— Сидим на лавочке, никого не трогаем. И вдруг этот, из Дворянского... Идет в своих белых носочках, как по ковру, не здороваются с местным населением. Мы говорим: «Скажи, мальчик, здрасте». А он...

— Обойдешься, Дых, без «здрасте», — сказал Кинтель. А прижатый мальчишка глянул на него удивленно и, кажется, с радостью. И знакомо так... Почуял избавление?

— Кинтель, ты че, — обиделся Дых. — Из-за такого фраера на своих скребешь?

— Сам ты фраер, — лениво разъяснил Кинтель. — Что за привычка врагов искать? Идет человек, вас не задевает... Между прочим, ко

мне идет, не к вам... Айда, Саня... — Кинтель взял мальчика за руку. Он, конечно, рисковал: Дых мог сообразить, что мальчишка шел не к дому Кинтеля, а в другую сторону. Однако Эдка только захлопал глазами.

Имя Кинтель сказал наугад. А точнее, что-то припомнилось. И, кажется, угадал: мальчик улыбнулся, открыв крупные редкие зубы, подернул ремень спортивной сумки.

— Да, пошли, конечно.

— Че, в натуре, что ли, кореш твой? — сказал им вслед Эдка Дых досадно и ревниво. Кинтель не оглянулся. Когда свернули на улицу Мичурина, Кинтель выпустил руку мальчишки. Тот смотрел со смесью смущения и доверчивой радости.

— Здравствуй! А я и не знал, что ты здесь живешь. Ты ведь тогда не успел оставить свой адрес...

Кинтель, размышляя, сделал несколько шагов. Потом, глядя под ноги, проговорил насупленно и решительно:

— Ты хоть обижайся, хоть что... но я не помню, где мы встречались.

— Да? — Мальчик вежливо постарался сдерживать нотку разочарования. — А откуда знаешь, как меня зовут?

— Ну... так, от фонаря.

Мальчик на ходу чуть отодвинулся от Кинтеля. Коричневой ногой в белом носочке и новенькой сине-желтой кроссовке пнул на асфальте пивную пробку-звездочку, та запрыгала, заискрилась. Потом он спросил слегка отчужденно:

— А если не помнишь, зачем же стал заступаться... за незнакомого?

— Ну а что? За незнакомого нельзя? Если четверо на одного...

Мальчик Саня сказал непонятно:

— Тогда... тем лучше... — И добавил уже иначе, беззаботно: — А встречались мы прошлым летом, на теплоходе. На «Михаиле Кутузове». Помнишь?

— Ой... Салазкин!

ПЕСНЯ О ТРУБАЧЕ

Судно было новое, громадное, длиной сто тридцать метров. Четырехпалубное. Когда оно подходило к дебаркадеру какой-нибудь прибрежной деревеньки на «зеленую стоянку», казалось, домики прижимаются к земле, как стайка маслят в траве. Будто надвигается на них белый многоэтажный город и вот-вот подомнет под себя...

Впрочем, зеленые стоянки не вызывали у пассажиров энтузиазма. Мокрая трава, серое небо... Все было хорошо в этом плаваньи, кроме пого-

ды. Дули зябкие ветры, иногда швыряли в «Кутузова» горстями колючие дожди. Погудев и включив марш «Прощание славянки», теплоход, как айсберг, отваливал от берега и уходил на пасмурный простор реки. Туристы сидели в каютах и салонах. Торчали у окон или смотрели в кинозале видяшки.

Но Кинтель много времени проводил на палубе. Точнее, на палубах. Чтобы не озябнуть без движения, он подымался и опускался по трапам, обходил от кормы до носа и обратно одну палубу за другой. Смотрел на подернутые моросью берега, где медленно плыли назад высские леса, села с колокольнями, похожие на сказочные городки монастыри и просторные, как тысяча стадионов, луга... И уравнивая свою скорость со скоростью теплохода, реяли над кормой чайки. Крупные — совсем белые, а поменьше — с черными головами. Ровно бурлила у бортов вода...

Когда Кинтель оказывался на носу, он часто видел там этого мальчишку. Тот кутался от ветра в большую (наверно, у матери взял) поролоновую куртку и стоял всегда у поручней, отгораживающих бак — носовую площадку с запасными якорями и с брашпилями, на которую вход пассажирам был запрещен. Ветер вскидывал у него, будто крылья, коричневые волосы, а мальчишка не отворачивался, смотрел вперед.

Иногда появлялась молодая красивая женщина, говорила негромко, но отчетливо и звонко — так, что было слышно далеко:

— Салазкин, опять ты здесь. Пойдем, а то совсем продрог.

Мальчик не спорил, уходил с мамой. Но скоро вновь оказывался у поручней бака.

Встречал Кинтель Салазкина и в других местах. Тот обитал с матерью и отцом (худым дядькой в больших очках и с профессорской бородкой) через три каюты от Кинтеля. И в ресторане их столики были недалеко друг от друга. И Кинтель скоро поймал себя, что приглядывается к этому мальчишке больше, чем к другим ребятам. Сперва он поглядывал на Салазкина со спрятанной в себе снисходительной усмешкой. Мальчик был ужасно благополучный, выросший в семейном тепле, при неустанных маминых заботах. Завбота эта сказывалась в мелочах, которые украдкой подмечал Кинтель. В том, как мать во время обеда незаметным шепотом учит сына держать нож и вилку, как поправляет на нем воротничок и как из каюты окликает его в коридоре: «Салазкин, ты куда? Пожалуйста, не убегай надолго!»

«Небось на скрипке играть учится, — думал Кинтель. — Или на фигурное катание ходит... А в классе, наверно, на нем воду возят, кому не лень... Хотя, скорее всего, он из спецшколы — из музыкальной или английской, там все так же...»

Салазкин не стеснялся приласкаться к родителям на глазах у посторонних. Подойдет, потрется о локоть матери щекой, как котенок, или подкрадется сзади к отцу, прыгнет на спину и повиснет, болтая худыми ногами в черных колготках. Мама одевала свое дитя, как детсадовского мальчика. «В третьем классе, наверно, а все еще как дошкольник — внутри и снаружи», — думал Кинтель.

Впрочем, в размышлениях Кинтеля не было никакого недоброго чувства. Был стыдливый интерес, которого Кинтель стеснялся даже перед собой. Потому что получалось, что он вроде бы заглядывает в чужое окно. В чужую жизнь, где рядом с мальчиком есть мама и папа, где можно позволить себе быть маленьким — доверчиво, без оглядки, без страха.

Если представить человеческую душу в виде пчелиных сот и если предположить, что душа тем счастливее, чем больше ячеек заполнено радостью и любовью, то полного счастья Кинтель не смог бы достигнуть никогда. В самые блистательные моменты жизни одна ячейка все равно чернела бы сиротской пустотой... Нет, Кинтель не жаловался. С Толlichem жилось неплохо. Без сомнения, дед его любил. Но так же несомненно, что между любовью деда и маминой любовью — большая разница... А отец жил своей жизнью и Кинтеля вспоминал от случая к случаю...

Завидовал ли Кинтель Салазкину и другим ребятам, которые плыли на теплоходе с родителями? Пожалуй, нет. Какой смысл завидовать той жизни, которая несбыточна? Он только ощущал себя как бы отгороженным, не совсем таким, как остальные — те, что всегда с отцами и матерями. И, видимо, потому не сошелся ни с кем из мальчишек и девчонок на «Кутузове». Только издали он смотрел на чужую семейную жизнь, ревниво подмечал у ребят и взрослых неповторимые черточки этой жизни: неприметную ласку или нарочитую ворчливость родителей в отношении к своим чадам, умение понимать друг друга без слов, какие-то забавные привычки — вроде той, когда мать зовет сына по фамилии: «Салазкин...»

Однако скоро Кинтель понял, что «Салазкин» — не фамилия, а домашнее прозвище мальчишки. Потому что отец иногда окликал его «Саня», мать порой ласково звала «Санки». Ну и ясно: Саня-Санки-Салазкин. А фамилия у него была Денисов. Кинтель это узнал, когда шли по Рыбинскому водохранилищу.

Плавание только начиналось, но Кирилл Георгиевич — специальный человек, отвечающий за развлечения пассажиров — к тому времени уже устал унимать ребят всех возрастов, которые носились там и тут по теплоходу, лезли куда не на-

до. С утра до вечера он уговаривал по радио родителей следить за сыновьями и дочками. И наконец решил взяться за воспитательную работу. Попросил всех ребят собраться в музыкальном салоне и объявил, что в конце путешествия будет большой концерт детской самодеятельности (с призами!), а пока надо выявить таланты. Кто что может. Петь, читать стихи, танцевать, играть на пианино...

Кинтель, конечно, не собирался выступать, талантов у него не было. И этот «детский праздник на лужайке» его мало интересовал. Но хорошо было сидеть в кресле у широкого, будто киноэкран, иллюминатора и смотреть, как серый простор катит навстречу пенные валы. Рыбинское море разгулялось. Громаду «Кутузова» даже покачивало — палуба иногда мягко уходила вниз, и это вызывало легкое, приятное замирание. Неподалеку шел параллельным курсом длинный низкий сухогруз, и видно было, как белыми взрывами — выше рубки — встает у него перед носом штормовая вода. Над баком «Кутузова» тоже взлетали гребни. Ветер подхватывал брызги и клочья пены, швырял их на стекла, хотя салон был аж на третьей палубе. И не разглядеть было берегов. В общем, как в настоящем море (которого Кинтель еще ни разу не видел)...

А в уютном салоне тем временем кто-то декламировал стихотворения, кто-то бацал на клавишах нехитрые мелодии, семилетние близнецы Вера и Вовчик, несмотря на покачивание, умело станцевали ламбаду. Толстая девочка Рита спела «Эскадрон моих мыслей шальных», и ей очень хлопали... Надо сказать, что все музыкальное сопровождение песен и танцев взяла на себя мама Салазкина. И вот он сам вышел к пианино.

Кирилл Георгиевич объявил:

— А теперь Саня Денисов из города Краснодзержинска споет...

Кинтель не расслышал названия песни. Его удивление было похоже на мягкий толчок. Значит, они из одного города! (А, собственно говоря, чему радоваться? Не все ли равно? Зачем ему этот мамин Салазкин?..)

А Саня Денисов о чем-то шепотом перепирался с матерью. Кинтель разобрал его тихо шелестящие, но упрямые слова: «А другую я не буду... Тогда никакую не буду...» Надо же, мальчик умеет спорить с мамой...

Мать Салазкина слегка пожала плечами, улыбкой прикрыла от собравшихся минутный конфликт и заиграла. И Саня Денисов запел.

Голос у него был совсем не сильный. Голосок. Но пел Салазкин чисто и с ясным, сразу проникающим в сознание тоненьким звоном. И песня была... не о кузнечике, не о солнышке и улыбке, не о теплом дожде и прочих детсадовских радостях. Мелодия показалась Кинтелю знакомой,



чем-то похожей на тот же «Эскадрон», хотя и не такая залихватская. А слова... Никогда раньше Кинтель их не слышал.

Над волнами нам плыть,
По дорогам шагать,
Штормовые рассветы встречать.
Нам коней горячить,
Догоняя врага,
Карабины срывая с плеча...

В каждом куплете две последние строчки Салазкин повторял дважды. Песня звенела, и многочисленные звуки «ч» («горяЧить», «с плеЧа») энергично врубались в мелодию, словно подчеркивая кавалерийский ритм.

И быть может, в траву
Упадем мы с тобой,
И рассвет не пробьется в ночи.
Но трубач ни за что
Не сыграет отбой —
Не смогли мы его научить...

Мы учили его:
Если грянет беда,
Звать в атаку друзей за собой.
Наш трубач никогда,
Никогда-никогда
Не слышал о сигнале «отбой»...

Кинтель задержал дыхание... Казалось бы, песня как песня, что такого. Но зазвенела в Кинтеле ответная струнка. Потому что пел Салазкин вроде бы и не на маленьком концерте в салоне, а на крепостной стене, среди побитых ядрами каменных зубцов. Слово сам он был маленький трубач осажденного войска и бросал врагам последний вызов.

Скоро день расцветет,
Словно огненный клен,
Голос горна тревожно-певуч.
Поднимайся, мой мальчик,
Рассвет раскален,
Бьетса пламя под крыльями туч...

Помолчали сперва, потом захлопали — сильнее, сильнее. Салазкин стоял, потупившись, перебирая на подоле синего свитера шерстинки... А Кинтель встал и осторожно, за спинками кресел, выбрался к выходу. Потому что никаких других песен, а тем более стишков и «легкой музыки» ему было не надо.

Кинтель был неравнодушен к трубачам. Такой уж, наверно, он уродился несовременный. Ста-

ринные печальные марши духового оркестра волновали его гораздо больше, чем хитрые ритмы синтезаторов и электронных гитар. От посторонних Кинтель это свое увлечение, конечно, скрывал: обсмеют с головы до ног. И только с дедом они иногда по вечерам ставили на проигрыватель пластинку, с которой неслись трубные голоса двенадцатого года и Севастопольской обороны. А еще — мелодии вальсов, которые в давние-давние времена (когда была молодой прапрабабушка Текла Войцеховна) играли в садах и на бульварах военные оркестры.

А один раз Кинтель чуть сам не сделался музыкантом в оркестре. Это еще когда он жил с отцом. В двух кварталах был детский клуб «Орбита», и в нем занимался ребячий духовой оркестр. Упрямые звуки валторн и геликонов слышны были даже сквозь двойные стекла.

Как-то раз, весной, третьеклассник Кинтель прижался носом к окну и увидел оркестр при полном параде. Наверно, шла генеральная репетиция. Все ребята (даже девчонки) были в алой гусарской форме и черных лаковых киверах с золотыми кистями. А трубы сияли так заманчиво, марш звучал так призывно, что Кинтель не выдержал — через несколько дверей и коридор проник в зал.

В перерыве его заметили, но не прогнали. Высокий дядька с черными глазами и с бородой, как у Емельяна Пугачева на портрете, поставил Кинтеля перед собой и спросил:

— Что, явился на звуки труб?

— Ага... — выдохнул Кинтель. — А мне можно... у вас?

— В принципе можно. Только подрасти сперва.

— А... сейчас?

— У нас с двенадцати лет занимаются. Понимаешь, надо, чтобы легкие были покрепче, зубы попрочнее...

Кинтель набрался смелости и сказал, что он и сейчас вполне прочный. Весь, от макушки до пят.

— Можно, я только попробую...

— Ну, попробуй, — усмехнулся чернобородый. Кинтелю дали серебристую трубу. Вроде пионерского горна, только длиннее. Называется «фанфара». Кинтель дунул, получилось шипение. Все засмеялись, но не обидно. Потом объяснили, как прижимать к губам мундштук и как толкать сквозь них воздух. Называется «атака языка». Кинтель попробовал разок, ругой. Выдал хриплые звуки. Потом зажмурился, настраивая себя на серьезное дело. Сильно напряг губы. И у него получилось четыре разных звука, четыре чистые ноты. При этом кончик языка задрожал, и музыка вышла трепещущая, переливчатая.

— Ух ты, какое тремоло! — удивилась девоч-

ка с флейтой. А бородатый руководитель сказал, что «мелодия почти как у Чайковского».

— Будто начало Итальянского каприччио. Ну-ка еще раз.

Кинтель попробовал снова. Получилось уже не так удачно, однако все заплодировали.

И все же в трубачи Кинтеля не взяли. Сказали, что директорша клуба все равно не позволит. Но разрешили Кинтелю приходить на занятия и считаться запасным. И обещали, что, может быть, научат играть на барабанах. Барабан, конечно, не сверкающая труба с живым голосом, но Кинтель был рад и этому. Тем более, что бородатый Вадим Петрович обещал подобрать для Кинтеля мундир и кивер.

Но скоро все рухнуло. Вадима Петровича прогнали из клуба и грозили ему всякими неприятностями. Говорили, что он занимается с ребятами нехорошими делами. Кинтель не понимал, что это такое. А когда ему объяснили, содрогнулся от отвращения и не поверил. И ребята говорили, что все это брехня, просто директорша невзлюбила Вадима за строптивый нрав и решила таким образом выжить его из «Орбиты». Впоследствии выяснилось, что так и было. Но в клуб Вадим Петрович не вернулся, стал играть в джазе какого-то ресторана. А оркестр без него распался...

РОДОСЛОВНАЯ

Поздно вечером Кинтель в своей каюте лежал, смотрел сквозь стекло на звезды в разрывах облаков и вспоминал песню о трубаче. Слова наполовину позабылись, но мелодия в голове повторялась ясно. И уже не пианинная, а будто целый оркестр. Вплеталась в журчание заборной воды.

Теплоход больше не качало. Ветер стих, да и водохранилище кончилось, вошли в Шексну. Дед посапывал на соседней койке. Ему, как и Кинтелю, нравилось плавание, хотя сперва он был расстроен.

Случилось вот что. Была у Толича давняя знакомая, тетя Варя (Кинтель ее тоже хорошо знал). Она часто приходила к деду, помогала по хозяйству, порой по-свойски ругала Кинтеля за школьные неуспехи. Иногда они с бабушкой ходили в театр или на выставки. В общем, близкие друзья. И эта тетя Варя в мае добыла в профкоме две путевки для такого вот плавания. От Москвы до Ленинграда, по Волго-Балту, по Ладоге, потом обратно по Волге, до Казани, и снова в Москву. На целых три недели путешествие. И собирались они вдвоем: тетя Варя и Толич. А для Кинтеля отец купил путевку в лагерь «Голу-

бая стрела» (бывший пионерский, а сейчас оздоровительный). Что ж, каждому свое. Кинтель и не помышлял о дальнем плавании. В лагерь не очень хотелось, но куда деваться?

А за несколько дней до их общего отъезда у тети Вари заболел отец в Омске. Серьезно. Тут уж не до туризма, тетя Варя срочно укатила в Омск, а теплоходная путевка досталась Кинтелю (лагерную же быстренько сдали).

Конечно, нехорошо радоваться удаче, которая случилась из-за чужой беды. И все же Кинтель был счастлив. До той поры он, кроме как на дачу да в пионерские лагеря, никуда из своего Краснодзержинска не ездил. А тут: поездка в Москву, а потом по рекам и озерам, через десятки разных городов аж до самого моря. Потому что известно: Ленинград стоит у начала Финского залива, а это уже часть Балтики...

Дед на радостного Кинтеля поглядывал как-то настороженно, потом с непонятной опаской заметил:

— Ну и ладно. А то я боялся, что ты не захочешь...

— Почему?

— Ну... на теплоходе все-таки. Вдруг у тебя предубеждение...

Кинтель сперва не понял, потом спросил прямо:

— Это из-за мамы, что ли? Потому что она погибла на пароходе?

Толич неловко вздохнул.

Кинтель хмуро пожал плечами. Разве море виновато, что в нем гибнут люди? Виноваты были неумелые капитаны, из-за которых два судна врезались друг в друга... А на суше сталкиваются поезда и автомобили, так что теперь? Не ездить, не ходить по земле? И не любить ее?.. Нет, Кинтель не боялся плыть, а увидеть море мечтал давным-давно.

Теперь уже скоро... «Скоро, скоро, скоро», — еле слышно дышали в глубине плавучего города машины. И опять в этот ритм вплеталась, начинала звенеть в мозгу песня о трубаче, который стоит между крепостных зубцов... Или на бруствере окопа...

Кинтель по дыханию деда чувствовал, что тот не спит. Может, думает опять: как там тетя Варя и ее отец? (Толич звонил в Омск с каждой пристани, где были междугородные автоматы.)

— Толич?

— Ну, чего тебе?

— Ты не переживай, все у них будет нормально.

— Я и не переживаю. Вчера Варя сказала, что дело на поправку пошло...

— Ну вот. А ты вздыхаешь. А я буду виноватый, что вместо тети Вари с тобой поехал...

— Не выдумывай. Дурень...

— Ага... Толич, а помнишь такое старое кино про гражданскую войну: там белые наступают на красных, а у тех все меньше и меньше людей. И оркестр играет марш, но в нем люди тоже гибнут один за другим. И вот уже только один трубач. И все равно играет, назло врагу...

— Да, это впечатляло... — сказал Толич. — Это «Мы из Кронштадта»...

— Хорошее кино, верно?

Рассказать напрямую про песню о трубаче Кинтель стеснялся. А дед ее не слышал, в салоне тогда его не было.

Виктор Анатольевич отозвался со скрытым несогласием в голосе:

— Ничего картина, в свое время пользовалась успехом... Но есть и другие фильмы о трубачах. Не хуже...

— Какие?

— Например, «Бег». По пьесе Булгакова. Читал у него что-нибудь?

— Знаешь ведь, что читал. «Мастера и Маргариту».

— А еще есть у него роман «Белая гвардия» и пьеса «Дни Турбиных, и пьеса «Бег». Там не раз повторяется эпизод, как русский полковник приказывает юнкерам разойтись по домам, не вступать в бой с петлюровцами, чтобы не гибнуть напрасно. А несколько офицеров решают застрелиться, и с ними юнкер-трубач, совсем мальчишка.

— Зачем застрелиться?!

— Ну... кодекс офицерской чести.

— А если они белые, то почему воевали с петлюровцами? Те ведь тоже... против красных.

— Ты, Данила, все еще мыслишь, как в школьном учебнике. На два цвета. А все было гораздо сложнее. И смелых людей хватало под всякими флагами...

— Да знаю я...

— И всем ведь надо поставить памятники.

«Трубачу-то уж точно...» — подумал Кинтель. А дед гнул свою, видимо, давнюю мысль:

— Иначе, что получается? Сегодня одним ставим памятники, другие сбрасываем... Завтра — наоборот...

— Как Павлика Морозова, — вспомнил Кинтель бронзового мальчика в одном из городских скверов. Тот с головы до ног был обляпан мутно-серой краской, а постамент измазан грязью.

— Вот именно! — повысил голос дед. — Задумали деревенскому мальчугану голову, поманили светом, которого он до той поры не видел, сами толкнули на смерть. А теперь кричат: «Предатель!» И забыли уже, как ему и братишке кухонным ножом распорол животы...

Кинтеля передернуло.

— А кино... — продолжал дед, — оно, конечно, всегда за душу берет, если режиссура сильная. И если не знаешь всего...

— Чего «всего»? — настороженно спросил Кинтель. Мелодия в голове утасла, спать не хотелось, тревожно почему-то стало.

— Ну, те же «Мы из Кронштадта». Помнишь, как белые пленных матросов с обрыва сбрасывали? И мальчишку, юнгу... Я в детстве когда смотрел, хотелось прямо на экран броситься, голыми руками давить гадов... А потом узнал...

— Что?

— Сцену эту снимали под Севастополем, на черноморских обрывах. Сколько там красных матросов погибло, не знаю, а вот белых офицеров... Когда красные брали Крым, Фрунзе обещал, что никого из пленных не тронут. Многие поверили, сдались. Кто-то не сумел уйти на кораблях союзников, кто-то не захотел: родная земля все-таки... Их потом выводили на обрывы, шеренгу за шеренгой, и косили из пулеметов. Беззащитных, десятки тысяч... — Дед вдруг закашлялся, как старый курильщик, хотя на самом деле уже не курил... — Представляешь, не десятки человек, не сотни, не тысячи, а *десятки тысяч*. Можно сравнить с населением небольшого города... А за что? Россию они любили не меньше, чем Фрунзе или Тухачевский и другие знаменитые большевики...

«Дед, а ты ведь тоже коммунист», — чуть не выдал мысль Кинтель. Но прикусил язык. Некоторое время лежал молча. Но дед, видимо, почувал вопрос. Он покашлял и вдруг сказал тихо и медленно:

— В институте, на старшем курсе... Наш парторг возгласил: молодые специалисты должны пополнять ряды КПСС. Видать, в райкомовских планах случился недобор по части молодежи... Ну и подкатил этот деятель ко мне. Давай, мол, ты у нас по всем статьям подходящий, на красный диплом тянешь... Нельзя сказать, чтобы я рвался вступать, но, с другой стороны, все-таки «передовой отряд». Кроме того, многого мы тогда просто не знали в нашей истории. Хотя многое и знали... но думали — дело прошлое. А к тому же у меня распределение готовилось в Морфлот, а кто бы мне открыл визу для загранплавания, если бы узнали, что я отказался писать заявление о приеме... Вот так и получилось. Теперь уж почти три десятка лет стаж. Трижды пытались выгнать, не получилось...

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 59

Валерий АМИРОВ

БЫСТРАЯ ЕЗДА ПО МОЗАМБИКУ



На извилистой дороге через саванну «форд» мотало из стороны в сторону, как корабль на волне. В скорости не было никакого удовольствия: раскаленный воздух распирал легкие и казалось, путешествие этому не будет конца. «Если русские и любят быструю езду, то только не в Африке», — улыбнулся про себя майор Адольф Николаевич Пугачев. Но он спешил. Нужно было во что бы то ни стало успеть добраться до места назначения до полудня, когда, собственно говоря, и начиналась настоящая жара.

Здесь, на далеком южном континенте, майор Пугачев привык торопиться с первого дня, с того самого, когда в ноябре 1978-го спустился по трапу самолета Аэрофлота на землю Мозамбика.

Он не был боевым специалистом, как большинство из советских офицеров, прибывавших в эту страну в качестве советников. Задачи Пугачева были «скромнее»: в кратчайшие сроки организовать мобилизационную работу в Мозамбике, наладить призыв в армию молодого пополнения, создать сеть военных комиссариатов. На весь немалый, по африканским масштабам, край, специалистов такого профиля прислали всего четырех, и каждый из четверых был, что называется, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Пугачев на пару с подполковником Ковалевым, к примеру, за несколько дней и ночей разработали ни много ни мало «Закон о всеобщей воинской обязанности», который с «первого захода» подписал президент страны Самора Машел. По

этому закону провели перепись всех мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Хотя существительное «перепись» в стране, где из десяти жителей едва ли двое грамотных, звучало, пожалуй, слишком громко...

В основу своего детища положили, понятно, советские документы, прежде всего «Закон о всеобщей воинской обязанности СССР». Его Пугачев помнил наизусть, от корки до корки. Это и выручило: в Мозамбик запрещалось ввозить любую документацию. Тем не менее, путь разработанных таким образом законодательных актов был не простым. Перед тем как предлагать законы и инструкции президенту Машелу, их отсылали в Москву, в Министерство обороны на «одобрение» — словно там не догадывались, каким «первоисточником» мог пользоваться их собственный специалист! Из Москвы заверенные высокой подписью документы возвращались в Мапуту, где переводились на португальский, и только тогда шли в резиденцию Саморы Машела. Впрочем, случая, когда президент забраковал бы предложенный ему советниками документ, Пугачев не припомнит. Правда, закон о всеобщей воинской обязанности глава государства дополнил одним пунктом: об обязательности призыва на действующую военную службу женщин. На основе этого пункта позже формировали женскую бригаду.

А вообще, интересное ощущение — чувствовать себя творцом системы воинского учета целого государства. Это сейчас, сидя в удобном кабинете Свердловского областного военного комиссариата, можно поулыбаться и поиронизировать над собственным «законотворчеством». А тогда не смеялись, вкалывали «по-черному», укладываясь в совершенно немислимые сроки. Поначалу мешал языковой барьер, но его перешагнули быстро: португальский был вполне понятным и конкретным, военному человеку его короткие рубленные фразы оказались очень даже удобны. Через два-три месяца язык стал едва ли не самым маленьким препятствием на пути к цели по сравнению с гигантским барьером мозамбикской нищеты. На призывные повестки, которые рассылались из Мапуту в районные (дистриктные) комиссариаты, а затем разносились по домам, откликнулись совершенно неподготовленные к службе в армии люди. Уклонений практически не случилось: служба гарантировала регулярное питание, и трудно было дать людям по мозамбикским меркам что-либо более привлекательное. Богатая природными ископаемыми страна с вполне пригодными для интенсивного земледелия почвами влачила жалкое полуголодное существование. Выращивать урожай здесь не очень привык-

ли, ибо португальцы ввозили продовольствие в Мозамбик из Европы, обеспечивая рынок сбыта для своих фермеров. Но был и фактор моральный.

Мозамбик, в силу исторических условий, многие десятилетиями был «дачей» Португалии, ее огромным сырьевым и курортным придатком. Соответственно метрополия формировала и инфраструктуру своей колонии. Большинство мужчин и женщин, имевших работу, трудились на обслуживании туристов. Эта работа объективно не прививала мозамбикам гражданских чувств, поэтому армия, как правило, воспринималась призывниками чисто потребительски. В этих условиях от советских военных специалистов и особенно от «военкоматовцев» требовалось терпение поистине величайшее.

Прежде всего стремились охватить учетом офицеров, а вернее, потенциальных офицеров — людей, имевших образование. Училивали всех, кто окончил колледжи, а это были в основном представители состоятельных классов, сумевшие выехать для учебы в развитые страны. Но таких среди мозамбикцев имелось немного. Поэтому под офицерский учет попадали и те, кто имел среднее образование, что тоже встречалось нечасто. Вообще отсутствие базы для подготовки командного звена армии было характерным почти для всех африканских государств, сумевших обрести независимость. Но ситуация в Мозамбике носила, пожалуй, наиболее острый характер. К тому же на призывных участках практически никогда не было врачей, пригодность к службе Пугачев, как челнок, разъезжавший по стране, определял на глаз, по телосложению. Распределял по родам войск, передавая потенциальных «защитников» мозамбикской революции в части и подразделения, где другие советские и кубинские советники обучали их азам военного дела.

...За год и даже за пять боеспособной армии не создать. В Мозамбике эта истина подтверждалась ежедневно. При налетах «миражей», при атаках войск противника мозамбикские солдаты нередко паниковали и бросали автоматы. Случалось, советским военным советникам приходилось, в нарушение наставлений Москвы, самим организовывать оборону. Участвовал в боях и Пугачев.

Однажды наших воюющих советников заснял на пленку фотопулемета «мираж». Пленка была затем передана прессе, и поднялся скандал. Офицерам сделали категорическое внушение, но участие в вооруженных столкновениях они не прекратили: больно было смотреть, как организованные вражеские подразделения расстреливали фактически беспомощных мозамбикцев.

Они не были обязаны воевать. Более того, они были обязаны не брать в руки оружие. И — многие наши сограждане до сих пор убеждены, что поездки офицеров-советников в африканские государства были поездками за деньгами. Такими легкими и приятными вояжами за бананами и автомобилями.

Автомобили некоторые из советников действительно привозили. Если везло. А если нет, то советников привозили самих — для того, чтобы похоронить на Родине.

Как-то автомобиль, на котором ехал Пугачев, оторвался от колонны, возвращающейся на базу после боев с одним из бандформирований. На дороге, едва заметной на пыльной земле саванны, не было никого, кроме регулировщиков. А определить принадлежность регулировщиков к той или иной воюющей стороне практически невозможно: все в одинаковой форме. Проехали благополучно, добрались до базы. Пугачев, до смерти уставший от похода, собирался уже лечь подремать, когда в дом вбежал перепуганный мозамбикский вестовой: «Комарадо специалист, все ваши погибли!» Колонна попала в засаду.

Уж сколько прошло времени с тех пор, а Пугачев до сих пор не понимает, почему тогда засада не тронула его машины. Может, слишком малой мишенью оказалась?.. Во всяком случае, первым тостом Пугачева по возвращении на родную землю был тост за погибших товарищей.

Нет, советникам не приплачивали за бессонные ночи над военными документами для молодой республики. Мало того, за ними охотились. Поначалу советники жили просторно: каждая семья в отдельном коттедже. Но потом, когда банды стали орудовать буквально в двух шагах, все сбились в один большой дом. Боялись больше не за себя, а за жен, остававшихся без всякой защиты.

Конечно, у дома стоял пулемет, у которого круглосуточно дежурил мозамбикский солдат. Но солдаты сплошь и рядом от службы отлынивали, их часто заставляли у пулемета спать. Надеяться в случае прорыва террористической группы оставалось только на свои силы.

В комнате Пугачев постоянно держал автомат. Спать ложился с пистолетом под подушкой. И супругу обучил обращению с ручными гранатами. В войне этой не было тыла, а дом совсем не выглядел крепостью.

Однажды утром их предупредили: на дом готовится нападение. Они тогда целый день просидели взаперти, оштетинив окна стволами автоматов. Сидели в напряжении до тех пор, пока кубинские «спецы», озадаченные неяс-

ной советских советников на службу, не подняли шума. Только к ночи подошло подразделение из соседней бригады, и осадное положение было снято.

Справедливости ради надо сказать: на неблагодарность хозяев они пожаловаться не могли; в лагерь советников не раз приезжал сам президент Мозамбика Самора Мойзес Машел, постоянно выражавший удовлетворение ходом помощи в становлении Вооруженных Сил республики. Устраивались для советских друзей и приемы с богатым бутербродным столом и изысканными напитками. С этой стороны все было в порядке. А вот с другой... Постоянно угнетало сознание того, что все держится исключительно на плечах советских специалистов. Там, где они появлялись, порядок устанавливался мгновенно, но стоило куда-нибудь уехать, как работа часто замирала. И тем не менее сдвиги были все-таки налицо. И системе призыва удалось довольно четкую наладить, и кадры военкомов Мозамбика обучить. Теперь республиканская армия могла, в принципе, обойтись собственными силами. Поэтому центр тяжести в деятельности советников было решено переместить непосредственно в провинцию. Туда перевели и майора Адольфа Пугачева. Там было не легче...

Единственный раз за два года службы в Африке Пугачев был в отпуске. Это было не так сложно, как могло показаться. Раз в неделю из Мапуту в Москву charterным рейсом отправлялся Ту-154. Несколько часов перелета, и снова — Советский Союз. Без папайи и фейхоа, но такой родной.

Правда, он не отгулял тогда отпуска до конца. Вернулся гораздо раньше: дела есть дела, и жена хорошо понимала его, хотя каждый день дома был, конечно, на вес золота.

Вооруженные силы Мозамбика день ото дня становились все более реальной мощью. Банды уже не решались действовать в открытую, большим числом, чаще практиковали вылазки со стороны Родезии, засады. Прибывали в Мозамбик советники-пограничники: помогли организовать границы, которых у республики доселе не было. Пугачев, кстати, тоже побывал в шкуре нарушителя государственной границы: в одну из поездок неопытный водитель перепутал дорогу, и они оказались на родезийской территории. Заметил ошибку переводчик, и они спешно вернулись. Обошлось без международного скандала.

Работал Пугачев в Мозамбике, что называется, до последнего. Даже когда пришел приказ о возвращении к месту службы в Союзе и были уже упакованы вещи, в самый последний вечер все еще отдавал указания мозамбик-

ским помощникам о том, что нужно сделать в самую первую очередь. Будто собирался назад через недельку-другую.

В РАЗНЫХ КРАЯХ ОСТАВЛЯЕМ МЫ СЕРДЦА ЧАСТИЦУ...

А первым делом по возвращении из Мозамбика поехал он не к себе в Свердловск, а в Москву, где учился один из тех, кто не вернулся — младший лейтенант Дима Чижов, студент 2-го курса Института международных отношений. Переводчик с португальского, для которого работа в Мозамбике была институтской практикой. Пугачев, прошедший войну и никогда не прятывшийся от пулю, считал святым долгом заглянуть к родителям боевого товарища.

...На извилистой дороге через саванну «форд» мотало из стороны в сторону, как корабль на волне. «Если русские и любят быструю езду, то только не в Африке», — улыбнулся про себя майор. Мозамбик снится ему часто. Случается, по несколько ночей подряд.

**Как и где
воплощалась в жизнь
идея мировой революции?
Как чувствовали себя
советские солдаты
в Латинской Америке
и Африке, в Китае
и на Ближнем Востоке?
Об этом вы узнаете
из публикаций
под рубрикой
«Неизвестные войны».
Прямое отношение к ней
будет иметь очерк
о маршале Тухачевском,
одной из самых ярких
и противоречивых фигур
советской истории,
ревностном приверженце
знаменитой идеи.
В нынешнем году
исполнилось 100 лет
со дня
его рождения.**

Владимир НИКОЛАЕВ

Из полевого дневника

*Более пятидесяти лет
я проводил
геолого-разведочные
работы
в труднодоступных
местах Сибири
и Казахстана.
В дневниках
помимо
документации
полевых наблюдений
по профилю моей
специальности
сохранились заметки,
как мне думается,
интересные для
людей разных
профессий.*

ОГНЕННАЯ СТРЕЛА

Давно, в 1936 году, наш небольшой отряд проводил геологические работы в верховьях реки Ваха — правого притока Оби. Плавающей базой отряда был добротный рыбацкий неводник. Вверх по реке мы поднимались давно отработанным бурлацким способом, бесконечно огибая то правые, то левые песчаные бечевники Ваха. Бурлацкие лямки выматывали силы, и обычно через два часа мы останавливались

на перекур, выбирая наиболее высокую дюну, где на сухом песке и на ветерке, изгонявшем вездесущих комаров, можно было передохнуть.

Однажды, во время очередного перекура, я обратил внимание на уходящую вглубь песка вертикальную трубку, которая была не похожа на обычные норки насекомых. Ее диаметр не превышал двух сантиметров. При внимательном рассмотрении заметили, что устье трубки и ее стенки несут явные следы оплавления. Трубка прямым столбиком уходила в толщу песка на 80 см. Чуть ниже от нее — три небольших ответвления, внешне очень похожих на корневые отростки. При этом первоначальный диаметр трубки почти до конца оставался постоянным.

Наш отряд состоял из молодых геологов и студентов, опыта у всех маловато, и потому разгорелся страстный спор по поводу происхождения трубок. Помог проводник. Убедительные жесты местного охотника, все время показывавшего пальцем то на устье трубки, то на небо, позволили сделать заключение о том, что мы обнаружили своеобразный «автограф» молнии.

Приехав с полевых работ, выяснили, что подобные трубки давно и подробно описаны. В науке они известны под названием фульгуриты (от латинского слова «фульгур» — молния). В числе первых исследователей, правильно объяснивших природу автографов молнии, следует назвать Ч. Дарвина. В настоящее время такие автографы известны в ряде районов нашей планеты. Самое глубокое проникновение огненных стрел с небес в землю — 10 метров.

ЗАЯЦ — МЯСОЕД, а ВОЛК — ВЕГЕТАРИАНЕЦ

Наступление зимы в 1950 году наша экспедиция встретила на фактории Самбург. Ее дома и складские помещения разбросаны на правом берегу реки Пура, сравнительно недалеко от его устья. Мы ждали, когда установится хороший снежный покров, чтобы на оленях доехать до станции Надым, от которой можно добраться по железной дороге до Салехарда.

Как всегда, среди наших геологов были заядлые охотники, и они активно использовали передышку, чтобы пострелять белых куропаток. Меня всегда удивляла изумительная приспособленность куропатки к суровой полярной зиме. У этой пти-

цы снежно-белое оперение. Под пером много пуха, и перьями покрыты не только ноги до самых когтей, но даже и ступни лап. На голове перья доходят до клюва. Пуховые «чулки» и очень теплая белая «шуба» прекрасно защищают птицу от холода. Морозные ночи куропатки проводят под защитой снежного покрова.

Местные жители промышляли белых куропаток с помощью различных ловчих приспособлений. Наши охотники нередко находили замерзших птиц, у которых вся грудная часть, начиная от зоба, была объедена каким-то неизвестным хищником. Было непонятно, почему они не использовали представленную возможность для более полного обеда...

Однажды после прошедшего снегопада охотники увидели около обгрызанной тушки белой куропатки свежие следы зайца. Выяснилось, что зоб птицы, переполненный почками, сережками и веточками ивняка и березы, составлял трапезу зайцев. Они попутно объедали и мягкие части грудки, измазанные растительными остатками.

А вот другой случай. Лет пятнадцать тому назад мой хороший приятель, вернувшись из очередного отпуска, рассказал о том, что охотники из села Новая Ляда Тамбовского района в первые дни жатвы выследили матерого волка. Весь световой день уборочные машины в круговую косили большое кукурузное поле, а самосвалы подвозили зеленую массу к силосным траншеям. Волк отступил к центральной зоне зеленого массива, надеясь отсидеться там до наступления темноты, но выстрел догнал его. Каково же было удивление охотников, когда, вскрыв волка, они обнаружили у него в желудке лишь кукурузные початки. Ими-то и питался зверь в последнее время. Верно в народе говорят, что «голод не тетка». Даже такого матерого хищника он заставил стать вегетарианцем.

РЕЧНАЯ АКУЛА

Однажды вечером мы остановились на ночлег на берегу Иртыша, против Ханты-Мансийска. Недалеко от нашей стоянки рыбаčili мальчишки. Я закурил и стал наблюдать за одним очень подвижным пареньком. Он на закидушки с большим успехом ловил молодых щук. И вот как-то на одном крючке его закидушки одновременно попались две рыбины сравнительно небольшого размера. Одна из них за-

глотила крючок с насаженным чебаком, а вторая крепко схватила ее за туловище почти под прямым углом. В конце очень ответственной процедуры вываживания закидушки из воды стало ясно, что вторая щука не желает расстаться со своей жертвой и вместе с ней очутилась на песке возле ног удивленного рыболова.

Прошли многие годы, и я стал забывать про случай с двумя щуками, но вот однажды, когда мы проводили геологические работы в бассейне реки Тым (правый приток Оби), я наблюдал весьма любопытную картину...

Стоял очень теплый день. На довольно глубоком месте у самого берега мирно плавали стайки молодых щук. Но это «миролюбие» было обманчивым. Временами одна из них стремилась схватить свою ближайшую подругу. Та обычно ловко ускользала от смертельного захвата, и вся стайка продолжала плыть дальше. В очень редких случаях агрессивной щуке удавалось схватить свою добычу поперек ее туловища. Мертвой хваткой агрессор держал свою жертву довольно долго. Она слабела, а он постепенно, через серию молниеносных перехватов продвигался к ее голове. Потом наступал кульминационный момент схватки. Агрессор на один миг оставлял свою добычу с тем, чтобы сделать разворот и заглотить своего собрата с головы. При этом почти половина жертвы оставалась снаружи, так как щуки были одногодки, а по своим размерам одинаковы. После удачной охоты агрессор стремительно исчезал из нашего поля зрения в поисках подходящего места для весьма длительного переваривания своего собрата.

Приведенные наблюдения во многом объяснили необычный улов, который я наблюдал на Иртыше. Природный инстинкт хищника даже в минуту смертельной опасности не позволил ему оставить свою жертву, и вместе с ней он оказался пойманным.

Как-то не так давно я побывал в Ханты-Мансийске и спросил у одного рыбака, можно ли у него купить рыбу? И он ответил: «Паря, рыбы нет, а щука есть». Я удивленно посмотрел на него, а он сказал: «А разве щука рыба? Она акула».

ПЕСЧАНЫЕ ВАННЫ

В одно майское утро я открыл окно своего номера в гостинице. Оно выходило на большую привокзальную площадь. Везде был асфальт, и лишь две нарядные клумбы нарушали однообразный пейзаж города, застроенного панельными домами. Невольно я обратил внимание на маленькие кучки песка, бессистемно разбросанные за полосой движения городского транспорта. В песке с наслаждением «купались» всевозможные воробьи. Они неутомимо махали крыльями, стремясь обсыпать все оперение. Разбросав песок до основания, перелетали к новым кучкам. По-видимому, за долгую зиму в перьях воробьев нашли убежище различные паразиты, и птицы старались избавиться от них с помощью песка.

Наблюдая эту картину, я вспомнил свои молодые годы, когда городские воробьи могли свободно «купаться» в пыли немощных городских улиц, вольготно жить за оконными наличниками деревянных домов и свободно выклеивать овсяные зерна из конского навоза в любое время года. Урбанизация изменила их жизнь коренным образом.

Наблюдая ежегодное «купание» воробьев в маленьких кучках песка, я захотел узнать, чья добрая душа позаботилась о городских воробьях и позволила им совершать эти санитарные процедуры. Как-то раз я пораньше вышел из гостиницы на тихую еще спящую привокзальную площадь и увидел старика, в руках которого было ведро с песком и небольшой совок. Он медленно проходил по непроезжей части площади и насыпал на асфальт маленькие кучки песка. Пожилой человек посмотрел на меня и первый заговорил о том, что горожане забыли о своих спутниках-воробьях. Для этих меньших братьев в асфальтированном городе мы давно должны ставить специальные ящики с песком. Пускай купаются на здоровье. Немного помолчав, он добавил:

— Раньше я жил в своем деревянном доме, который стоял на том месте, где сейчас построена гостиница. Здесь были песчаные почвы, и воробьи охотно селились в нашем районе. Вот я и хочу в меру своих сил сохранить их курортное место.

Мы обменялись улыбками и разошлись. Я видел человека, влюбленного в красоту родной природы, а насыпанные им кучки песка говорили о его сердечной доброте. □

Виктор ХОХЛАЧЕВ

Памятник МАМОНТУ

Употребление эпитета «золотой» по отношению к кукурузному початку столь сильно укоренилось в языке разных народов, что сообщение о действительно золотом кочане может даже вызвать удивление. Между тем, существует не только початок из чистого золота, но также стебель и листья растения, которое вскормило древние цивилизации Западного континента. В знак великих заслуг индейского маиса перед американской нацией и поставлен в штате Айдахо золотой монумент. Это единственный на всем земном шаре памятник хлебному злаку.

«Второму хлебу» повезло больше. На родине французского аптекаря, большого энтузиаста картофеля Антуана Огюста Пармантье, в Монгидье воздвигнут памятник, на котором высечена надпись: «Благодетелю человечества». В английском городе Оффенбурге стоит памятник знаменитому пирату, вице-адмиралу королевского флота Великобритании Ф.Дрейку. Он поставлен не в честь его кругосветных путешествий и абордажных экспедиций. На пьедестале, украшенном рельефом из тартуффола, начертано: «Сэр Френсис Дрейк, распространивший употребление картофеля в Европе».

На обочине трассы Кошалаин — Щецин в Польше возвышается картофельина, которую бережно, как в раскрытых ладонях, поддерживают бетонные «руки» постамента. В одном из уголков горной области Гарц (Германия) лежит огромная гранитная глыба с надписью: «Здесь в 1748 году был впервые посажен картофель». А недалеко от городка Георгени, в центральной части Румынии, несколько лет назад появился еще один памятник картофелю — на сей раз по случаю снятия первого урожая отечественного сорта.

В 1935 году в Колтушах, под Ленинградом, по инициативе И.П.Павлова во дворе института экспериментальной медицины, носящего теперь его имя, была установлена необычная скульптура — дань уважения неизменному и незаменимому участнику физиологических опытов. На пьедестале монумента, увековечившего четвероно-

гого друга, воспроизведены слова великого ученого: «Собака благодаря ее давнему расположению к человеку, ее догадливости, терпению и послушанию, служит даже с заметной радостью многие годы, а иногда всю жизнь экспериментатору».

Памятники собаке сегодня можно встретить в разных уголках Земли — в Старом и Новом Свете, на Черном континенте и на далеком материке Австралии. На одном из них, воздвигнутом в австралийском городе Гандагай, можно прочесть: «За преданную службу людям», на другом, поставленном в Москве, в районе Кунцева, — не менее лаконичный текст: «За спасение утопающего»...

В Италии, в Борго Сан-Лоренцо, поднята на пьедестал фигура пса Верного (Фидо), который на протяжении четырнадцати лет каждый вечер приходил к автобусной остановке встречать своего хозяина, погибшего во время войны при бомбежке. В Париже этой же чести удостоен знаменитый сенбернар Барри, откопавший в Альпах большую группу людей, угодивших под снежную лавину. О его подвиге напоминает надпись: «Спас сорок человек от гибели. Во время спасения сорок первого — погиб». В городе Номе, на Аляске, стоит бронзовый памятник овчарке Бальту: в 1925 году в буран и ледяной мороз вожак собачьей упряжки Балт доставил горожанам противодифтерийную сыворотку, остановившую эпидемию. В Токио навсегда застыла на постаменте упряжка ездовых собак, оставленных в Антарктике. В Берлине увековечен в монументе четвероногий проводник слепых...

В прошлом веке знаменитый физиолог Клод Бернар поставил памятник другому неизменному «соучастнику» многих выдающихся открытий в биологии — обыкновенной лягушке. По примеру парижан лягушку, за ее вклад в развитие физиологии, вознесли на пьедестал и жители японской столицы.

А в Сухумском питомнике было решено установить первый в мире памятник обезьяне — безмянному павиану, с перечнем болезней, которые удалось победить благодаря опытам над обезьянами.

В датском городе Фоборге и испанском Сантандере возведены памятники безмянным буренкам, а американские зоотехники увековечили в бронзе реальную мировую рекордистку по удоям — корову Мелбу.

Другой рекордист — красавец Гранит — навечно встал на терри-

тории подмосковного конного завода. Два памятника поставили еще при жизни орловскому рысаку Квадрату — один на ВДНХ СССР, другой — в селе Успенском, на его родине.

Пасечники Страны Восходящего Солнца соорудили в городе Гифу изваяние медоносной пчелы.

Жители американского города Брайтона вознесли на пьедестал воровья, который избавил население от грозящего голода, уничтожив в округе всех гусениц.

А в другом полушарии, в австралийском городе Бунарга фермеры построили памятник гусенице както-бласиса — благодарность за помощь в борьбе с американскими кактусами. Завезенные сюда с Западного материка колючие растения, которые в большом количестве высаживались здесь в прошлом веке как живые изгороди, стали захватывать поля. Похожие на шелкопряда гусеницы, спешно доставленные из Латинской Америки, справились с зарослями колючек лучше, чем тракторы и корчеватели.

Еще один удивительный памятник, прославляющий вредителя-паразита, стоит в США. Надпись на его пьедестале поясняет, что памятник сооружен жителями Энтеррайза в знак глубокой признательности хлопковому долгоносику, уклавшему путь к процветанию. Оказывается, именно этот крошечный жук, уничтоживший в 1915 году весь урожай хлопчатника — основной культуры в штате Алабама, вынудил местных земледельцев переквалифицироваться в скотоводы, разводить овощи, кормовые травы, земляной орех и другие культуры. Разбогатевшие на мясе и молоке фермеры и поставили своему невольному благодетелю монумент, напоминающий известную статую Свободы.

В собрании коллекционера Владимира Бульванкера накоплено около 130 описаний всевозможных памятников животным. Кому только ни ставили их на планете! В Швейцарии построен памятник мулу, в Италии — ослу, в Норвегии — киту. Есть монумент в честь канадской казарки. Отмечены заслуги кролика и бабочки...

Особое место в этом ряду занимает уникальный обелиск, стоящий в развилке дорог, на берегу озера в селе Кулешовка Недригайловского района Сумской области.

В 1839 году местные крестьяне наткнулись на какие-то огромные кости, вымытые из земли дождевыми водами. Весть о находке дошла до здешнего землевладельца обер-

камергера графа Ю.А. Головкина. Он распорядился откопать загадочные останки. На месте раскопок прибыл профессор медицины Харьковского университета Иван Иосифович Калениченко. Он-то и определил, что найдены кости мамонта.

По проекту и под руководством украинского натуралиста был отлит из чугуна, доставлен из Харькова на лошадях и установлен в 1841 году в Кулешовке трехметровый памятник с барельефом, прекрасно сохранившийся до наших дней. «На сем месте, — гласит отлитая на четырехграннике надпись, — в 1839 году открыт остов предпотопного мамонта». Кости ископаемых исполинов, переданные Харьковскому университету, и поныне хранятся в его зоологическом музее.

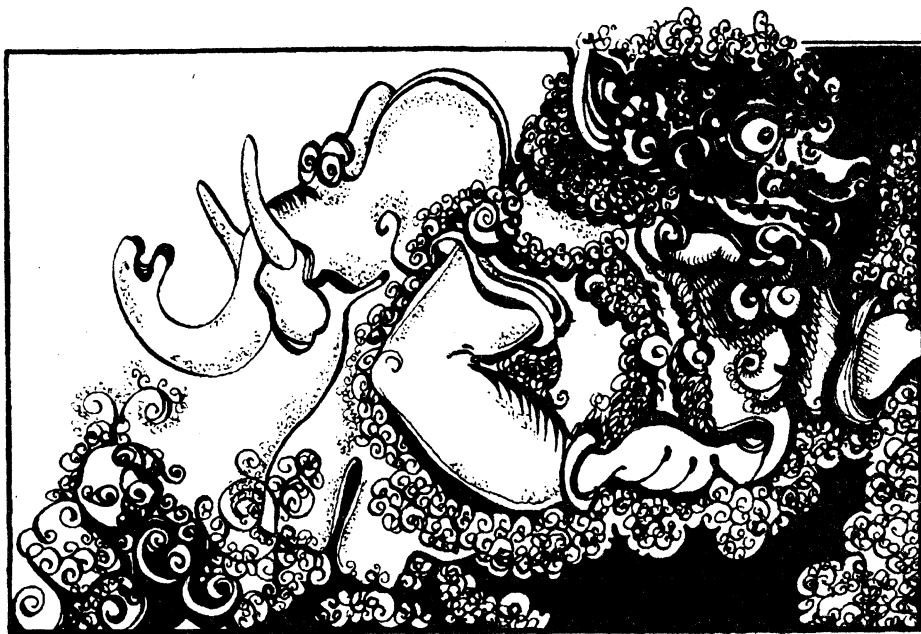
Благодарное человечество, построившее монументы в честь собаки и лягушки, в не меньшей мере обязано своей жизнью, сохранением рода людского тем давним лохматым слонам, память о которых зафиксирована разве что в названии великана растительного мира — секвойдендрона гигантского, сохранившегося лишь на западе США, в калифорнийских горах Сьерра-Невада, и у нас, в крымском парке в Ливадии. Его еще называют мамонтовым деревом.

Свидетель нашего темного прошлого — безобидный травоядный колосс был основным источником существования мамонтов, а последние в свою очередь помогли выжить первобытному человеку. Убедительные доказательства этого дали раскопки, проведенные на мамонтовом кладбище у якутской реки Берелех — гигантской свалке пищевых отходов древних охотников.

С рисунков и статуэток, изображавших главного кормильца наших пращуров, берет начало изобразительное искусство. Об этом свидетельствует изображение мамонта эпохи палеолита, сделанное красной охрой в Капповой пещере на Урале, — более древнее, чем первые произведения наскальной живописи, приписывавшиеся прежде кроманьонцу.

С него же, мамонта, берет истоки музыка. Это установлено украинскими археологами, открывшими в селе Мезин, на Черниговщине, древний музыкальный комплекс из костей мамонта.

Выходит, что на костях мамонта чуть ли не в буквальном смысле построена вся наша цивилизация. Мамонт давно просится на пьедестал, перед которым всем нам следовало бы преклонить колени. □



РАЗРЕШЕНИЕ

После сытного обеда бог джунглей Баабве-Гамбанунда прилег отдохнуть в тень, но тут появился Кролик.

— Добрый Баабве-Гамбанунда, — страстно заговорил Кролик. — Разреши мне задать порядочную трепку этому несносному невеже и гордецу Льву!

— Ты хочешь задать трепку Льву, славный и кроткий Кролик? — удивился бог джунглей Баабве-Гамбанунда. — Но почему?

— Терпение мое лопнуло! — выпалил Кролик. — Чего стоит одна его походка! Этот вздернутый нос!.. А это рычание по ночам! И кисточка на кончике хвоста! Как будто важнее льва нет никого в джунглях!

— Пожалуй, ты прав, славный Кролик, — согласился бог Баабве-Гамбанунда.

— Разреши мне только схватить его за гриву и встряхнуть хорошенько, — заглянул богу в глаза Кролик. — Ну, может быть, разочек ткнуть его мордой в лужу... И под конец дать хорошего пинка под зад... — мечтательно закончил Кролик.

— Я разрешаю тебе сделать так, как ты хочешь, — подумав, согласился Баабве-Гамбанунда.

Довольный, Кролик убежал.

— Как хорошо, что я дал когда-то Льву мощные лапы, крепкие когти и сильные челюсти, — поворачиваясь на бок, заметил бог джунглей Баабве-Гамбанунда.

ЖЕНИТЬБА ПАУКА

Пришла пауку Бхау пора жениться. Огляделся Бхау по сторонам, стал невесту себе выбирать, а тут как раз слониха Кисанба проходила мимо.

— Женюсь-ка я на слонихе! — решил паук Бхау. — Чем не невеста для меня?!

Повис Бхау на тонкой паутине и размечтался:

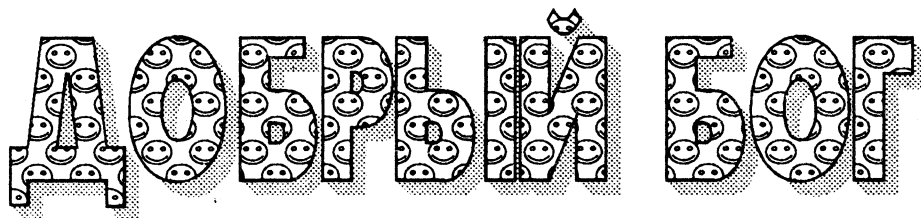
— Родит мне слониха Кисанба сына. Одно-единственного, но такого огромного, какого свет не видывал! Вот это будет паук-паучище!

Бхау перебрался по паутине выше, оглядел свысока джунгли, крикнул хвастливо:

— Эге-ге! Мой сын станет плести такую паутину, что будет она толще лиан! Мно-ого толще!

Прокричал это паук Бхау да призадумался.

— Да только кто же в такую паутину попадется, какая му-



ха?! А если не будет мух, что же мой сыночек кушать станет?! И ведь он, мой сыночек, такой огромный, что его отцу, пауку Бхау, за целый день не наловить столько мух, чтобы накормить любимого сына!

Горько запричитал несчастный паук Бхау, так горько, что забыл плести новую паутину и едва на землю не свалился.

— Но может быть и совсем по-другому, — вдруг подумал паук Бхау. — Может получиться так, что слониха Кисанба, коли я женюсь на ней, подарит мне не одного огромного паука, а нарожает бесчисленное количество крошечных-крошечных слоников!

Паук Бхау зажмурился, чтобы представить себя счастливым отцом.

— Слон ростом с паука — это хорошо, — решил Бхау. — Но у моих детишек будет всего по четыре ноги! Четыре ноги — это не шесть лап, это гораздо меньше! К тому же научатся ли крошечные слонята плести паутину?! Я не уверен в этом! Неужели мои дети родятся несчастными?! Нет, я не допущу такого!

В этот момент слониха Кисанба возвращалась той же дорогой.

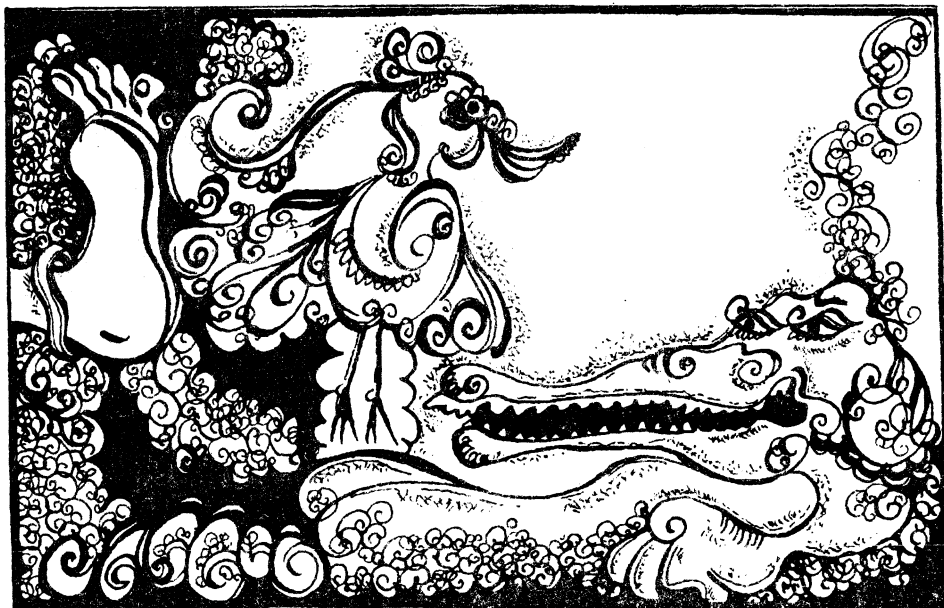
— Как хорошо, что у меня было время подумать, — с облегчением заметил паук Бхау. — И я не наделал глупостей.

ОГОРЧЕНИЕ

Слон вышел на прогулку и, задумавшись, не заметил, что наступил на Кролика.

Когда Слону сообщили об этом происшествии, Слон воскликнул:

— Как я огорчен! Но пусть в таком случае и Кролик наступит на меня, пусть!



МУДРЫЙ ПОПУГАЙ

Выбрался на берег Крокодил, увидел высоко на ветке Попугая и обратился к нему с такими словами:

— Дорогой брат Попугай! Могу ли я просить тебя о самой малости: будь моим другом! Более того, стань мне могучим покровителем, славный брат Попугай, мне, одинокому и несчастному Крокодилу!

— С большой охотой, — отвечал с ветки Попугай. — Считаю, что ты, брат Крокодил, уже находишься под моей защитой!

— Но отчего же в таком случае ты не спустишься ко мне? — удивился Крокодил. — Почему ты не позволишь мне обнять тебя, брат Попугай, мой могучий покровитель?

Мудрый Попугай огляделся по сторонам и отвечал так:

— Брат Крокодил, но что мне мешает дружить с тобой, сидя на ветке, и защищать тебя, не спускаясь на землю?

Голодный Крокодил вздохнул и пробормотал себе под нос:

— Пойду поищу себе другого покровителя.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Бегемот Ваавау с братом нежились в прозрачных струях реки Чиумбе, как вдруг на голову Ваавау упал крупный кокосовый орех.

— Благодарю тебя за щедрый подарок, добрый бог джунглей Баабве-Гамбанунда, — воскликнул бегемот Ваавау.

— Но ты даже не поднял головы, — заметил брат бегемота Ваавау.

— Если бы я поднял или хотя бы слегка повернул голову, — отвечал умный бегемот Ваавау, — то вполне возможно, узнал, что этот кокосовый орех — никакой не подарок бога Баабве-Гамбанунда. На берегу стоит высокое дерево, ветви которого нависают над водой. На вершину этого дерева могла забраться глупая обезьянка Луу и, безобразничая, швыряться оттуда орехами. Если все так, то меня ждало бы большое разочарование.



ВОДОПОЙ

Разгоряченная Антилопа прибежала к водопою и вдруг увидела купающегося Бегемота.

— Фи! — сказала Антилопа. — Что я вижу! Я никогда больше не смогу пить эту воду!

— Что случилось, сестра? — добродушно поинтересовался Бегемот.

— Ты все испортил! — капризно стукнула копытцем о землю Антилопа. — Здесь была самая чистая и прозрачная вода, и вот ты, такой толстый и неуклюжий, бултыхаешься здесь!

— Ну, во-первых, я не один, — отфыркиваясь, отвечал Бегемот. — Мой старший брат просто нырнул. Во-вторых, мы оба родились здесь, а раньше в этих водах плескались наши отец и мать...

— Что я слышу! — ахнула Антилопа. — Что я слышу!

— Не переживай так, сестра, — закончил добрый Бегемот. — Мой брат еще не вынырнул и, чтобы сделать тебе приятное, я тоже скроюсь под водой.

ГОРЕ

Кролик сидел в своей уютной норе, как вдруг услышал снаружи плач и горестные причитания.

Кролик осторожно выглянул и увидел лисицу Бу-Ням.

— Горе! Какое горе! — в голос запричитала лисица Бу-Ням. — Несчастный Кролик! Бедный несчастный Кролик! Он ничего не знает! Только что был съеден его любимый брат!

— Как?! — воскликнул Кролик и высунулся из норки. — Как?!

— А вот так, — стала объяснять лисица Бу-Ням, ухватив Кролика за уши.

Иллюстрации Натальи ПЕТРОВОЙ

Игорь ХАЛЫМБАДЖА

”...Метил в русские Жюль Верны”

Пятнадцать лет назад, в 1978 году, в Свердловске состоялось первое в нашей стране региональное совещание писателей, работающих в жанрах фантастики и приключений. В нем участвовали многие именитые авторы из Москвы, Ленинграда и иных не уральских мест, скорее всего, именно это придало сугубо «цеховому», казалось бы, совещанию характер крупного события в культурной жизни не только Свердловска, но и Урала в целом. Второстепенные по тем временам литературные жанры (которым на писательских съездах, к примеру, отводился лишь беглый абзац в содокладе по детской литературе) вдруг оказались в центре внимания широкой общественности...

То давнее событие существенно укрепило позиции фантастики на Урале. Одним из итогов совещания стало появление регионального сборника фантастики и приключений, выпускаемого поочередно в Свердловске, Перми, Челябинске. Идея материализовалась на удивление для тех лет быстро: уже через два года свердловчане держали в руках «Поиск-80», а пермаки запускали в производство «Поиск-81».

Разумеется, не обходилось без сложностей. В основном — идеологического характера. Так, два варианта «Поиска-84» были последовательно «зарублены» внутренними рецензентами тогдашнего Госкомиздата РСФСР; лишь через пять лет, в 1989-м, пермаки, заполняя пробел в ряду «Поисков», выпустили его с помощью одного из новых издательств. Временато изменились...

Да, времена изменились — и на смену прежним проблемам пришли новые. Экономические.

От самой мысли о «Поиске-91» на корню отказались челябинцы. Подготовленную уже рукопись «Поиска-92» вернуло, расторгнув договор с составителем, и Средне-Уральское издательство: иных книг требует сегодняшней законодатель — Рынок...

Двенадцатый выпуск «Поиска» (а он должен был стать тринадцатым!) все-таки выйдет: сейчас, когда готовится этот номер журнала, в издательстве «Уральский следопыт» уже появилась верстка сборника. Но вот будут ли следующие — нужны ли они сегодня, найдут ли себе издателей? — трудно сказать с полной определенностью...

Публикуемая ниже статья в более полном виде печатается в «Поиске-92».

Впервые об этом человеке я прочитал в середине 60-х годов, в свердловских газетах, в крохотных заметочках, посвященных открытию первого в городе клуба любителей фантастики. Среди мероприятий будущего клуба упоминалось и сообщение «об уральском Жюль Верне — Де-ля-Роке». Правда, такого сообщения за полтора года функционирования того, первого КЛФ так и не последовало. Но в 1969 году мне удалось совершенно случайно приобрести книгу И.Де-Рока «Гроза мира», и я понял: это и есть сочинение «уральского Жюль Верна». Тщетно я пытался расшифровать этот псевдоним — и «Словарь» И.Ф.Масанова, и картотека псевдонимов краеведческого отдела Библиотеки им. В.Г.Белинского молчали об И.Де-Роке... Наконец мне попала на глаза заметка краеведа Л.Хандросса в «Вечернем Свердловске» — «Материалы о «Русском Жюль Верне»; из нее я узнал, что подлинная фамилия писателя была Ряпасов.

«Я... метил в русские Жюль Верны, — писал незадолго до своей смерти Иван Григорьевич Ряпасов брату Павлу, — однако судьба распорядилась иначе». Да, судьба никогда не была благосклонной к этому талантливому самородку из уральской рабочей семьи. Об этом поведали мне материалы, найденные в архивах.

Родился Иван Григорьевич Ряпасов 5 июня 1885 года (по старому стилю) в поселке стекольного завода, неподалеку от нынешнего Красноуфимска, в семье мастера стекловарения. Семья была большой — шестеро детей, среди них Иван был самым младшим. Наблюдательный и сообразительный, уже в пять лет он выучился у сестры Оли читать. По семейному преданию, времени на это ушло немного — пока закипал самовар. Чтение Иван полюбил невероятно, оно ему заменило все: детские игры, катание на коньках и лыжах, купание в речке... Ершовский «Конек-Горбунук», «Родное слово» К. Ушинского, «Дон Кихот», романы Жюль Верна...

В начальную школу Ваню приняли сразу во второй класс. Ходить пришлось далеко, за четыре километра, в деревню Савиновку. Еще три года Иван учился в трехклассном училище с педагогическим уклоном на миссионерском хуторе в Манчажском уезде.

В 1901 году шестнадцатилетний Иван Ряпасов поступил на работу в контору сте-

кольного завода. Проработал лишь два года: раздражал хозяин, самодурство которого породило немало анекдотов. В августе 1903-го И. Ряпасов перешел на другой завод помощником машиниста. Однако и здесь пробыл недолго. Он жаждал знаний, хотел учиться. Решил поступать в Екатеринбургское горное училище. «Зубрил катехизис между правлением и смазкой машин, учил грамматику, твердил походы Александра Македонского, подвиги Геракла...» (автобиографический рассказ «Пора», 1911). В мае 1904 года Иван уволился с завода и успешно сдал экзамены в училище, но не получил стипендии и вернулся домой, к родителям. Здесь подготовился к экзаменам на учителя начальной школы и осенью сдал их в Екатеринбургской мужской гимназии.

Однако работу по новой специальности найти не удавалось. Помог знакомый журналист Соловьев: при его содействии И.Ряпасов в 1905 году принял в редакцию газеты «Урал» репортером. «Молодой и наивный случайно попал в редакцию, — писал впоследствии Ряпасов. — Живая, волнующая жизнь репортера захватила». Платили неусто — по копейке за строчку (для сравнения, в «Уральской жизни» репортеры получали вдвое больше). Работы было много — Ряпасов писал о митингах в революционные дни 1905-1906 годов, о добыче меди, об изумрудных копях, о проекте соединения каналом Камы и Печоры, об орсских золотых приисках, о погромах... Но примечательно, что первой его публикацией стала статья «Памяти Жюль Верна» («Урал», весна 1905). В целом же... «Вечная беготня дала возможность столкнуться с неприглядной изнанкой жизни... Существовал впроголодь, при грошовом заработке».

В Екатеринбурге И. Ряпасов дружил с секретарем редакции К. Никитиным, репортером Варушкиным, преподавателем горного училища Емельяновым, писателем Иваном Флавиановичем Колотовкиным. Колотовкин служил в конторе компании Зингер, писал «между делом», за что его критиковал И. Ряпасов. И еще — Ряпасову не нравились приземленные, сугубо бытовые темы рассказов И. Колотовкина: его собственное кредо было иным. «Вы берете жизнь бедноты во всем ее неприглядном, голом виде... ну кому это интересно?... Надо брать такие темы и сюжеты, в которых рассказывалось бы что-то новое, интересное, даже таинственное! — утверждал Ряпасов. — Это заинтересует всякого, даже полуграмотного!»

В 1906 году пришло время призыва в армию. Иван на велосипеде приезжает на стекольный завод попрощаться с родителями. Но медицинское освидетельствование признало его непригодным к строевой службе: слаб здоровьем.

В 1907-м Ряпасов женился. Свадьба опустошила и без того тощий кошелек молодого репортера, а тут и еще один удар судьбы — закрывается газета «Урал». Ряпасов поступил репортером в «Уральскую жизнь», проработал там с мая по декабрь 1908 года, но печатали его очень редко. Молодая семья практически осталась без средств к существованию... Наконец, на исходе 1908 года ему удалось поступить

В а с и л и й
Щ Е П Е Т Н Е В

ТОТ КТО НЕ СПИТ



Колесо «Кировца» на четверть скрылось в колее, прицеп кренился с боку на бок, пытаясь сбросить молочные фляги, по горло утопленные в гнезда-держатели. Целых четыре фляги. Если наполнены доверху, то ферма голов на шестьдесят при нынешних надоях. Восемнадцать километров до центральной усадьбы. И оттуда сорок шесть до районного молокозавода, из них тридцать — грунтовой дороги. Не молоко везут, а белое золото. Бело-голубое — учитывая вклад водопровода.

Петров поправил лямку рюкзака, держался рюкзак ладно, не тревожил, и вернулся на дорогу, на травяной коврик, что лежал меж глубоких колеин, припорошенный серой пылью.

Хорошо, ведро. В дождик не ходьба, а мука. Да и кто в дождь доброй волей путешествует ныне?

Он шагал мерно, экономно, а за спиной погромыхивал, удаляясь, молочный поезд.

Из пункта А на север отправился пешеход со скоростью пять километров в час, а на юг — трактор «Кировец» со скоростью в три раза больше скорости пешехода. Через какое время они встретятся, если известно, что встречаться им, вообще-то, незачем?

На покосившемся бетонном столбике — заляпанный засохшей, наверное, весенней еще грязью, прямоугольник толстой жести:

Д. Глушица

Д — значит, деревня.

Но и версту спустя не было ничего, по сторонам тянулись редкие осины да черные смоленые столбы электролинии по левую руку. Дальше лежали пустые непаханные поля — горячего не хватило, неудобья покупателей ждут, или просто — руки не дошли.

Ферма — низенькая, с «лежачими» крохотными окошками у крыши, когда-то штукатуреная и беленая, безнадежно обрастала навозом, который, словно годовые кольца дерева, ведал о былом процветании и нынешней скудости.

Млечный путь кончался распахнутыми деревянными воротами.

У южной стены, в огороженном жердями загоне уныло и сонно стояли коровенки, вяло шлепая хвостами по ребристым бокам.

— Эй, кто живой, отзовись! — Петров глянул в темный проем ворот. Мухи да оводы жужжали в ответ.

Он осторожно, выбирая, где ступить, миновал загон и, уже свободнее, пошел к стоящим поодаль избам — и смолodu некрепким, строенным не себе, артельно, наскоро, но странно достоявшим до сегодняшних дней, готовым стоять, пока живет в них кто-то, а опустеют — и рушатся в одночасье.

Калитка в штакетном заборе приоткрыта, крючок мелко качается на ржавой петле.

Травяная дорожка хрустнула под сапогами. Из хлева хрюкнул поросенок — сыто, довольно. И корову держат — вон лепешка свежая. Пасется, верно.

— Хозяева!

Дверь в сени низкая, смиренная. Стены увешаны снизками резанных яблок, мухи азартно носились над ними, шалея от изобилия.

— Чего надо? — хмурое, заспанное лицо хозяйки выплыло из-под марлевого полога открытого окна.

— Молока не продадите?

— Чего?

— Молочка, говорю, — Петров рассеянно смотрел на огород. Помидоры, подальше — капуста, поздняя картошка, кустики зеленые, сочные. Соток пятнадцать, да прирезанных «указных» столько же.

— Молока можно. Сколько?

— Литр.

— Сейчас, — хозяйка опустила марлевый полог, но шустрая муха успела залететь внутрь. — От зараза, спасу нет!

Петров скинул рюкзак, пристроил на лавке, широкой, почерневшей от старости, сел рядом.

Крынка с устоявшимся утренним молоком, жирным, не пить — жевать впору, припотела снаружи.

Петров хлебнул, остановился, переводя дух.

Идиллия!

Женщина, повеселевшая от движения, а, может, и от денег, которые успела спрятать в какой-то из карманов цветастого фасонистого платья, очевидно лишь недавно переведенного в затрапез, гоняла полынным стеблем мух с сушеных яблок.

— Вы тут по делу или как?

— Гуляю, — Петров опять припал к крынке, припадочный молокосос, в такт с глотками молоко плескалось о стенки, громче и громче, девятым валом норовя попасть в ноздри. Он поспешно отставил крынку. — Гуляю.

— Да где же здесь гулять? Что за интерес? — полынная ветка повисла в опущенной руке, и мухи тотчас вернулись творить непотребство.

— Люблю пешие походы. Дешево и просто, по отпускным, а впечатлений на год хватает.

— Один или с кем идете?

— Один. Сам командир, сам рядовой. В Курносовку добираюсь, там друг в фермеры подался, недельки две поработаю на него за картошечку.

— А где это — Курносовка?

— В Каменском районе, соседи ваши. Разве далеко? — он обхватил крынку за горло — широ-

кое, почти человеческое, прикинул на вес. Треть осталось.

— Так это через центральную усадьбу нужно до Марьино добраться, оттуда в Каменку попуткой, а уж затем в эту... Как ее...

— Курносовку.

— Вот-вот. Дальше ведь дороги нет, на нас кончается, — она хлестнула по стене, полынный цветок, отлетев, упал в крынку и поплыл — серенький крохотный шарик.

— Мне шосс не надо, я пешком, напрямик, — он допил молоко, полынный катышек попал за губу и пришлось отыскивать его языком, перекаладывать на палец и щелчком отправлять на грядки моркови.

— Хрю-хрю, — прокомментировали из сарая.

— Турист! — независимо от поросенка догадалась и хозяйка.

— Угу, — на тыле кисти остались короткие белые полосы. Отпечатки губ так же неповторимы, как и пальцевые.

— Наверное, много интересного видите? — она приняла крынку, невольно покачала, прислушиваясь.

Пусто.

Пустенько.

— Нет, не очень. Красивые места попадают, это да. Я больше для здоровья. Парочку лишних килограммов скинуть, — он встал, примерился к рюкзаку.

— Форма у вас хорошая. В городе брали?

Петров провел рукой по мешковато сидящей, немного запылившейся гимнастерке. На два размера больше. Как и задумано.

— Точно. Старые запасы распродавали, я и ухватил. Хлопок, немаркая, цена малая.

— Я своему тоже взять хотела, у нас записывались, а он отказался. Смешная, говорит. А чего смешного? — она оглядела Петрова. Фуражка со звездочкой, гимнастерка, ремень, галифе, сапоги. Эхо минувшей войны. Реализация не востребовавшихся товаров по социально доступным ценам. Дележ наследства империи.

— Ничего смешного, — подтвердил Петров. — Форма офицерская, пошив сорок восьмого года, проветрил — и носи на здоровье. Практично и удобно.

— В сапогах не тяжело ходить?

— Отличная вещь — сапоги, не кроссовки сопливые. Опять же офицерские, легкие, — он притопнул ногой. — И формы три комплекта взял, две летние и одну зимнюю, полушерстяную, шинель и две пары сапог. Хотел больше, да не дали.

Рюкзак пал на спину рысью, мягко. Сиди-сиди, покатаю захребетника.

— Хутор Ветряк на север, верно? — компас откинутой крышечкой пустил зайчика в другое, затворенное окно и высветил кусок гнутой блестящей трубы. Спинка кровати с никелированными шарами.

— Мимо конторы пройдете, там тропочка есть, прямо-прямо до хутора доведет, — не провожая, хозяйка нырнула в дом.

Петров накиннул крючок. Штакетины шершавые, занозистые.

Контора — кирпичный одноэтажный домик, крашеный зеленой краской, полопавшейся и свисавшей лохмотьями. Золушка после полуночи. А иного времени у нее и не было.

Небольшая железная мачта, оборванный тротуар спутанным клубком валялся в стороне.

Табличка у мачты: «Наши маяки» и рамка, в которую поместилась бы фотография девять на двенадцать, но никто не потрудился ее вставить.

Перевелись маяки. Вымерли. Как без них в бурном море?

Петров потрогал колесики блока. Приржавели намертво.

Дорога привела к самому крылечку конторы.

Окна тоже — нараспашку, и та же марля вместо занавесок.

Изнутри — редкие удары пишущей машинки.

Петров отвел краешек марли.

В профиль к нему за столом над клавиатурой огромной «Листвицы» колдовала тучная блондинка, давно, впрочем, не крашенная, а глубже, у стены, писала в толстую книгу другая, близняшка первой — те же формы, то же платье, только волосы подлиннее.

Остальные столы пустые.

Сидевшая за машинкой, наконец, заметила его:

— Гражданин, вам кого?

— Мне? Почтовый ящик, письмецо опустить.

— Ящик сбоку на стене. Почта у нас по четвергам бывает, раз в неделю, раньше не отправят.

— Четверг — хорошо, завтра.

— Ой, правда. Как быстро время летит, Зина.

Близняшка оторвалась от писания:

— Вы к нам по делу?

— Не в окошко бы говорил, кабы по делу, — рассудительно заметила машинистка.

— Мимоходом я, — подтвердил и Петров. — Путешествую по кондовой России. А чего это вас, девочки, всего две?

— Заведующий на совещании в районе, Клава в декретном, Нинка тоже, а Мария Ефимовна в больнице на операции, — машинистка подула на указательные пальцы. — Устала.

— Вы, значит, для удовольствия сюда забрели? — Зина казалась суше, строже машинистки.

— И сюда, и дальше пойду.

— Отпускник, наверное?

— Так точно.

— А мы на работе, между прочим.

— Намек понял, исчезаю. Скажите, на хутор Ветряк по этой тропинке идти?

— Правильно, — Зина повнимательнее всмотрелась в Петрова.

— Вы бабы Ани сын или внук будете? — машинистка общалась с Петровым охотнее товарки. Ясенько, пальчики свободные, а у Зины безмянный отягчен шестью, а то и семью граммами высокопробного золота: кольцо-боченок на треть фаланги.

— Нет, просто ориентир. Я в Курносовку пробираюсь.

— Жаль, — огорчилась машинистка. — Она ждет-ждет, когда за ней родные приедут. Тяжко ей.

— Нет, — повторил Петров и, отпустив занавесь, двинул вдоль стены. За обнаженным из-под штукатурки углом и правда прикреплен был почтовый ящик, синий, с красивым, хотя и облезшим немного гербом. Рядом — плакатик. На грубой желтой бумаге. «Обезвредить преступников». Он вчитался. Разыскивается банда, три человека, описание, приметы... Немедленно сообщить в ближайшее отделение... За информацию, ведущую к поимке — вознаграждение. Фотографий нет.

Петров достал из кармана гимнастерки сложенный пополам конверт, перегнул, расправляя, и опустил в щель. Письмо упало, слышно ударяясь о дно. Одно.

Каламбур не веселил.

Деревня Глушицы. По данным переписи, бестолковым и путанным, где человек считался дважды — и как житель деревни, и как колхозник к-за «Победа», — деревня насчитывала семьдесят шесть человек обою пола. За пять прошедших лет не уполовинилось бы населенье. Нинка да Клава — надежда наша.

На хутор Ветряк вела не тропа — аллея. Старые ветлы, растущие уже книзу, стволы толстые, узловатые, с огромными дуплами, частью и обломленные, торчали к небу иззубренными стволами разорвавшихся гаубиц, из больших превращенные в дряхлые.

Тропка бежала по левому краю аллеи, а правый порос терновником, заползавшим до середины просвета. Петров набрал пригоршню ягод и ел — по одной на каждый десяток шагов, потом — полсотни, а потом и всю сотню. Ягоды, покрытые сизой патиной, вязали рот. Молчание — золото.

Уродился терн, однако.

Солнце поднялось выше и, хотя деревья прикрывали тропу коротенькой тенью, стало жарко.

Время большого привала.

Он выбрал тень погуще, снял рюкзак, вытащил камуфляжное полотно, постелил на траву. Сапоги, не купленные, конечно, а заказанные, тачал ас из асов, дорожке мотоцикла — в сторону, портянки — на ветки куста, ремни, гимнастерку, галифе — все долой.

Навернув на себя теплую сторону подстилки, он уснул.

2

Разбитость, слабость, дрожание мыслей — эти обыкновенные последствия дневного сна отсутствовали. Приятно. Но сколько долгих, долгих тренировок понадобилось. За то же время можно выучить китайский язык, северный диалект или пройти полный курс школы игры на аккордеоне — увы, увы, не быть ему «всегда желанным в любой компании», как уверяла реклама самоучителя. Большая растрепанная книжка, мягкая обложка — блондинка с пальчиками, зависшими над клавишами «Вельтмейстера». Валяется где-нибудь на антресолях в коробках нераспакованных вещей.

Он сел, пошевелил пальцами ног. Прекрасно слушаются. Двадцать пять секунд полета, все системы функционируют нормально.

Полета... Если сравнивать, то уж не с космическим, а так, одинокий «кукурузник» вырубивает на земляную взлетную полосу. В небесах «Миги», «Миражи», «Вулканы» и прочая элита блюдет весьма вооруженный нейтралитет, и на тебе — одномоторный самолетишка технологии «рус фанер», видимый всем и вся, готовится, как дон Кихот, ринуться на ветряные мельницы.

Только это не ветряные мельницы.

Да и он не благородный идалго.

Четыре часа пополудни. Прекрасное время. Промышленные потребители электроэнергии отключаются постепенно, и турбины-генераторы отдыхают до вечернего пика нагрузки. Пульс страны приближается к заветным пятидесяти герцам в секунду ровно, давая надежду, что большая выкарабкается из кризиса.

Он попрыгал по траве, разминаясь, и начал одеваться. Или правильнее — облачатся? Рядиться?

Шматок сала, кусочек хлеба, крохотная луковичка — обед. О бедном гусаре замолвите слово...

Он вытер крошки с подбородка, вытряс подстилку и, сложив тщательней, чем парашют, поместил в специальное отделение рюкзака. Они все специальные — отделения, карманы и кар-

машки, для средства «реди», моет руки без воды, для аптечки, жестяных колокольчиков и стеклянных бус — меновая торговля с туземцами и проч., и проч., и проч.

Что рюкзак полегчал, незаметно, хотя хлеб, сало и лук перемещены из него в желудок. Двести граммов. Тысяча сто килокалорий. Можно вскипятить ведро воды.

Тропа покинула аллею, стала забирать вправо, терновые кусты расступились, выпуская, он последний раз набрал ягод, на память о старом тракте, и хватило памяти на час пустоши. Тропа видна плохо, стирается от времени, ползучие побеги трав сшивали ее края.

Солнце светило в спину, и видно было далеко, ясно. Буйная, совсем одичавшая лесополоса шла поперек поля, начинаясь и кончаясь за горизонтом, каждые полкилометра прерываемая короткими просветами, оставленными для дороги, по которой полуторки возили бы стопудовые урожаи на разукрашенную флагами весовую.

А и возили — наперегонки, состязаясь с соседней бригадой, на ходу, за баранкой подсчитывая тонны, километры и литры, загадывая, что привести из города, куда, как победителей, пошлют лучших из лучших на выставку.

Других полос, перпендикулярных становой, раз — и обчелся. Не успели насадить? Три П. План преобразования природы.

Тропа прошла сквозь полосу, теплую, порозовевшую под низким солнцем. Дубы насажены тесно, доминошными пятериками. Теория внутривидовой помощи. Дружная сплоченность коммуналки.

Шел бесконечный раунд схватки — кто сильнейший, кому жить. Деревья душили друг друга, уродуя и уродуясь сами. Если заснять жизнь лесополосы во временном масштабе минута — год, фильм получится не для слабонервных. Куда кетчу и кикбоксингу.

Но листья шелестели мирно, разуверая в самой возможности вражды и недоброжелательства.

За лесополосой — та же пустошь, невысокая чахлая трава. Холодная земля. Скупая.

Хутор оказался большой бревенчатой избой-пятистенком, с амбаром, хлевом, парочкой косых сараюшек, летней кухней под навесом, банькой, клозетом. Повыше, шагах в тридцати — журавль колодца.

На длинном ремне, привязанном к вбитому в землю железному колышку кругом выстригала траву коза, а маленькая козочка, свободная и вольная, бегала рядом, как цирковая звездочка, бодая невыросшими рожками невыстроенный барьер арены.

Вытягивая ведро из колодца, он вздохнул. Водичка стоит больно высоко, придется обеззараживать. Где вы, прозрачные ключи?

— Милок! Эй, милочек! — ведро едва не сорвалось вниз. Он оглянулся.

— Ты колодезную воду не пей! — ну, если это одинокая баба Аня, то не такая она и старенькая. За шестьдесят, правда, но жизненной силы на двух тридцатилетних хватит.

— Что так? Теленочком стану?

Хуторянка, не сходя с крыльца, замахала руками:

— Гнилая она. Иди сюда, у меня вода криничная, а колодезная только на стирку годится, да на полив.

Он подошел. Огород маленький, но ухоженный, сорняков не видно. Зато цветочки — от табака до георгинов. Красиво.

Хуторянка спустилась навстречу, подошла к летней кухоньке, открыла большой, литров на пятнадцать, металлический бак-термос, зачерпнула висевшей на гвозде кружкой:

— Пробуй!

Петров пригубил. Вода и вода. Холодная. Сейчас вкуснее станет.

Он скинул рюкзак, вытащил плоскую фляжку:

— Монастырский бальзам, — плеснул совсем немного, с чайную ложечку, и коричневый дым закружился, расплываясь по кружке.

— Хотите?

— Не, стара я бальзамы пить.

— Уж и стара, — Петров покачал кружку. Коктейль «походный криничный». — Лет шестьдесят?

— Семьдесят один! — гордо ответила хуторянка.

— Не страшно одной на хуторе?

— Бог от болезней боронит, руки-ноги служат. Опять же из района нет-нет, да и навестят, из собеса.

— По этой тропке? — он отпил желтоватую смесь. Ничего букетца, терпимо.

— Ты, милочек, из Глушиц пришел?

— Так точно.

— А если из Богданова, центральной усадьбы, то прямая дорога есть. В сухую погоду доезжают. Хлеб привозят на месяц, крупу, керосин, уголь на зиму. Мне, как воевавшей, положено. Сам-то что здесь потерял?

— Турист. Люблю тишину.

— Ты садись, сидя пьется лучше, — она подвинула табурет. — Тишины здесь полно, мешками бери.

— Воевали, значит?

— Снайпером была, женский снайперский отряд Чижовой, слышал? Двенадцать правительст-

венных наград имею! — бабка села напротив, через узкую деревянную столешницу.

— Бак, поди, тяжело таскать? — Петров кивнул на термос.

— Тележкой что хочешь свезешь.

— Далеко криница-то?

— Посмотреть желаешь? Посмотри. От века вода течет, не кончается.

— Если дальше пойти, на восток, — Петров показал рукой, — есть путь?

— Какой путь, — покачала головой старушка.

— Раньше колхоз был, верстах в двадцати, да давно распустили. Стариков по интернатам, молодые сами о себе позаботились. Глухомань одна.

— А еще дальше?

— Не знаю, врать не хочу. Говорят, колония после войны открылась, для убийц. Еще вроде военные, вертолеты порой подолгу летают, тренируются. Внизу-то ничего нет, свалятся — беды не наделают, разве на меня, старую, упадут, так и то польза выйдет, — она усмехнулась.

— Спасибо за водицу, — Петров поднялся. — Перегон до ночи отмахаяю.

— Где же спать будешь? — хуторянка поправила платок на голове.

— Палатка в рюкзаке, — он пошел по тележному следу.

Одной водой и угостила. Ни огурца с грядки, ни хлебушка. Времена строгие. Близка ночь — гостя из дому прочь.

След огибал невысокий пригорок. Вот и криница. Вода небойкой струйкой лилась из чугунной трехдюймовой трубы и сбегала вниз, проследиваясь на сотню метров высокой зеленой травой. Не получилось Волги, одиночек ручей, а нынче не время одиночек. В случае чего — сидеть в общей камере.

Он пил воду до бульканья в животе, зубы ломало от стылости, потом отошел в заросли травы.

Фонтаном изверглась вода, едва замутненная остатком обеда.

Опять и опять он пил и извергал ее, составляя в уме задачу про бассейн, в который в одну трубу вода вливается и выливается, а зачем, спрашивается? Хатха-йога, подражание тигру. Очищением желудка добиться кристальности помыслов.

Ладно, достаточно, довольно.

Он поднялся на пригорок, на самую его вершину. Солнце сядет скоро, а до синей полосы посадки — топтать и топтать.

Под ногами — чернота старого, давно паленого дерева. Ветряк стоял тут, на вершине, от него и называли хутор. Когда сгорел? И почему? Не пожалел немецкий летчик зажигалку или свои, отступая, уничтожили на страх агрессору?

Петров пригляделся к редкому, чахлому кус-

тарнику. Лет сорок прошло с пожара, сорок пять. Дружно горело, знатно, далеко светило.

Под гору ноги несли сами, успевай переставлять. Выйдя на равнину, он удержал темп, трава стегала по голенищам сапог. Дорога скорее угадывалась, относясь более к истории, чем дням сегодняшним — пониже трава, иначе пружинит земля, и вдали — просвет лесополосы меж рдеющих верхушек деревьев.

Солнце сменил месяц, половинка орловского хлеба, измятый, истыканный вилкой, а то и пальцами привередливых покупателей.

Когда до посадки осталось километра два, Петров вытащил из кармашка рюкзака баллончик, побрызгал на землю. Дезодорант, полезная в путешествии вещь. Имеет изысканный, нежный аромат, таинственный, как сама ночь...

Он свернул с дороги, пошел под углом, вспоминая значение тангенса сорока пяти градусов. На середине гипотенузы опять sprysнул след, и третий раз — заходя в посадку.

Света месяца едва хватило, чтобы выбрать подходящее местечко, закрепить меж близ стоящих стволов гамак, у головного края подвесить рюкзак, у ножного — сапоги. Тарзан из племени северных короткошерстных обезьян.

В животе заурчало, болезненная спазма скрутила — и отпустила. Помог бальзам да промывание желудка, иначе несло бы, как паршивого гусенка.

Он немного прошел, прогуливаясь, вдоль полосы, глядя на уходящий месяц. Пора за ним, на боковую.

Он вернулся к своему гнезду, забрался в гамак, укрылся с головой полотнищем.

Издали донесся протяжный вой. Унюхал выжлец плоды химизации, тяжко его хозяевам придется. И верно: человеческий крик, истощный, пронзительный, пересек поле, за ним — два выстрела.

Петров вслушался. Неясные, заглушенные расстоянием ругательства, стоны. А вы как думали, ребятки? Турист нынче пошел ушлый, запросто не возьмешь!

До рассвета — три с половиной часа. Вполне достаточно, чтобы отдохнуть, если уснуть сразу.

Но не спалось.

3

Утренняя птичья истерика бодрит сильнее кофе.

Петров, лежа в гамаке, завтракал, попеременно прикладываясь к тубу с сыром и пластиковой бутылочке с тоником. Почти космонавт почти в космосе.

Сороки верещали, обсуждая свои внутренние

дела. Чужих двуногих бескрылых поблизости нет.

Он откинул полотнище и стал медленно спускаться на землю. Какой Тарзан, смешно, желтый земляной червяк в период линьки, старая кожа сошла, а новой — не оказалось.

Утро росистое, ночь все слезы выплакала. Босиком по траве, и ноги чистые-чистые. Кто моет ноги по утрам, тот поступает мудро...

Он прикрепил кобуру к ремню, вложил пистолет. Балласт, гарантирует остойчивость и безопасность. И рюкзак полегчал, скоро вверх тянуть будет.

Он оглянулся на лесополосу, на темный след пролитой росы. И собак не требуется.

Вторая гипотенуза вернула на дорогу. Построение конгруэнтных фигур как условие совершенствования землепользования Древнего Египта.

Роса сохла быстро и к следующей поперечине посадки исчезла. Деревья разрежены кустарником, обильно, пенно нахлынувшим в проход стопудовых урожаев. Тихие, спокойные кустики. Пичужки попримолкли, зной. Воздух у горизонта дрожал, сгущаясь до плотности силикатного клея. Не увязнуть бы в этом клее. Если дойдет. Ведь далеко. А до прохлады под сенью дерев и кустов — метров триста. Дистанция эффективной стрельбы из автомата.

Петров упал в траву — плавно, удобно, освободился от рюкзака и, устроив его на предплечье, пополз. Со стороны посмотреть — дурак дураком. При условии, что никто со стороны не смотрит. Если смотрит — не дурак, а предусмотрительный, осторожный человек. Но если никто не смотрит, то тоже ведь не дурак. Имеет право передвигаться любым доступным способом.

Впрочем, словесная эквилибристика ни к чему: со стороны его видно быть не должно. Разве сверху.

Он глянул в белесое небо. Птица. Треугольный вырез в хвосте. Ястреб, коршун? Забыл. Высматривает слепыша, мышь полевую, мало ли добычи на тысячах гектаров?

Петров приложил ухо к земле.

Если держать его так долго-долго, оно пустит корни и примется. Спасает только срочная гильотинная ампутация, осужденная Господом нашим, Матфей, двадцать шестая глава, стих пятьдесят второй.

Он переместился в сторону, опять прислушался. Будет, довольноно.

Петров встал, побрел к застывшему терновнику. Колючий, цепкий, не разгуляешься. Совершенно неприспособленное для засад место. Зря ползал, пачкал и мял еще вчера бравую сидящую форму.

А, может, и не зря.

Он успел пройти четверть часа новой пустошью, когда позади, из покоренной посадки, но в километре от прохода показали конные. Двое. Странно. А на слух — три лошади по меньшей мере. Одна — для него? Заботливость умиляет до слез.

Он бежал назад, в кустарник, стараясь не споткнуться о вспучившую вдруг кочками землю.

Лошадь под первым всадником поскакала резвее, второй, напротив, поотстал, дожидаясь третьего, видно, старшего, лишь сейчас выехавшего в поле.

Понадеялся на заботу и ласку. Жди, сейчас приласкают.

Всадник все ближе. Дурашка, думает — страшный.

— Стой! Стой, говорю, — и застрочил из автомата, стараясь отрезать Петрова от посадки.

Не зря автоматическое оружие разминулось с кавалерией. Стрелять на скаку из автомата, да из какого автомата! Нет, поспешил с выводами: строчка второй очереди пролегла совсем рядом.

Петров остановился, выхватил пистолет.

В случаях неясных и запутанных следует полагаться на классовое чутье. Конный пешему не товарищ. Все мы немножечко лошади, каждый из нас по-своему... — третья очередь явно шла поперек Петрова, и, обрывая ее, он выстрелил.

Смолк автомат, и лошадь, проскакав совсем немного, остановилась, увязнув в густом полуденном зное.

Отставшие всадники направили коней в поле, прочь. Аллюр три креста, галоп. Трусоваты оказались. Или этот — их ударная сила, а они начальники, командир да комиссар?

Петров высвободил ногу убитого из стремени, и тот сполз наземь.

Штатская, гражданская одежда вневременного покроя, брюки да рубашка, изрядно поношенные. В карманах — кисет с самосадом да сложенный в несколько раз обрывок газеты. Бумага старая. А спичек нет.

Он прошел по следу коня — мерина, если для протокола. Налетят в чистом поле — кто? Откуда? — поди, догадайся.

Ствол автомата горячий. Ни следа ржавчины. Не новый, но вполне добротный пистолет-пулемет Шпагина. Диск опустошен наполовину, его, Петрова, пуля так и не вылетела. Ремень брезентовый, потертый.

Он направил ствол в небо и выпустил длинную очередь. Конь и ухом не повел.

Улица курковая, улица штыковая, и пороховая, и патронная...

Он шел, закидывая в посадку части автомата. Неполная разборка, курс молодого бойца.

Шорник, что сбрую ладил — последователь Собакевича. Грубо, но прочно.

— Ну, Сивка, гуляй, — он шлепнул коня по боку. Тот охотно зарысил вслед далеким всадникам.

И пешком дойти можно. Сапоги казенные, больше стоптал — больше усердия выказал. Верой и усердием все превозмочь удастся.

Всадники исчезли в жарком мареве, не доскакав до горизонта. Овраг. Олений лог, как значится на старых, дореволюционных картах. Если правее забрать — попадешь в деревню Староскотинное, где гувернанткой при барских детях служила известная дама-романистка. Сестричка Бронте? Нет, те, бедняжки, не вкусили России.

Деревня открылась вдруг: миновал редкий кустарник и вот она, вся тучочки.

Повыше, на юру — господская усадьба, а в низине — крестьянские избы.

Жарко, должно быть, горели.

Он ходил среди черных плешин, отдельные былинки не могли затянуть их, мало времени прошло. Сорок девять лет — ничто на геологических часах.

Даже раскатанные бревна выгорели дотла, не оставив и щепы, огарка. Бросьте спичечный коробок в мартен — примерно похоже.

Петров дошел до каменного дома. Когда-то двухэтажный, свысока глядевший на подлые избы, он и получил больше — хотя куда уж больше. Стены — толстые, сложенные на века, уцелели едва выше колена, остальное смело, будто городовная бита угодила в «бабку в окошке».

Он прошел в сторону рассыпанных осколков дома. Копоть горелого дерева на остатках штукатурки, прилепившейся к красным звонким кирпичам; часть лестничного пролета, странно лежащая шагах в ста, уже на склоне юра, ступени покрыты небесно-голубой лазурью — это расплавленные медные прутья пропитали мрамор ступеней, а дожди превратили короткий блеск медного золота в ровную, приятную глазу ярь.

Эпицентр взрыва — к северу. Петров сверился с часами. Четырнадцать сорок. Шестьсот семьдесят микрорентген в час. Суммарная доза — двадцать две сотых биологического эквивалента рентгена. Сушая безделица.

Он вытащил аптечку, достал пенал с большими желтыми таблетками. За маму, за папу.

Угол дома отбрасывал тень — густую, почти черную. Место наибольшего сопротивления, стены здесь сохранились по грудь. Невзрачное, но удобное для привала место.

Скромный обед, шесть перемен. Карта вин:

каберне, виноградник Ваду-луй-Воде, урожай семьдесят восьмого года, кагор Чумай восемьдесят четвертого.

Низкий рокот с запада, со стороны пройденного пути. Два вертолета, зеленые, краснотелые, кружили в небе, вынюхивая след. Обещанная войсковая часть. Правда, в штабе округа о ней никто не знает.

Ищите, голуби, ищите.

Он укутался камуфляжным полотнищем, лег у стены. Послеобеденный отдых как причина сокращения сферы влияния Испании на рубеже семнадцатого и восемнадцатого веков.

То Испания, а то — Россия.

Вертолет шел совсем уже низко, черная пыль закружилась над старым пепелищем, и летчик поспешил набрать высоту.

Молодец.

Петров прикрыл лицо краем полотнища. Как хотите, а соснуть полчаса — отличнейшее дело. И для пищеварения польза неоценимая.

Он дремал под шум винтокрылых ищек, они превращались в зеленых мух, сдуру залетевших в комнату и отчаянно кидавшихся в стороны, надеясь обрести бывшее небо, ветер и навозную кучу. Липучки на вас нет — широкой желто-коричневой ленты, цепляемой рядом с лампочкой. Сядет на нее муха и приклеится всеми лапками, сколько бы их не было — четыре по Аристотелю, шесть — по школьному учебнику или восемьдесят-двадцать, попадающихся любопытным натуралистам наряду с многоногими жеребятиками в некоторых местах нашей необъятной Родины.

Пробуждение прошло под аккомпанемент воробьиной драки — из-за кусочка бутерброда, расточительно оставленного на салфетке. Пока двое насканивали друг на друга, появился, как обычно бывает, третий, ухватил клювом спорный кусочек и полетел, стараясь удержать равновесие, а драчуны поспешили за ним, объединенные жаждой справедливости.

Вертолеты стрекотали далеко, у горизонта. И не надоест?

Он причесался, оглядел себя, прихорашиваясь, салфеткой прошелся по сапогам. Нет, адъютант его превосходительства не получится. Слишком много пыли, неглаженности, щетины на щеках. Поле не штаб, не способствует блеску. Обошли с победой мы полсвета, если нужно, повторим, солдаты, в путь, в путь, в путь...

Он спускался с возвышенности, порой потревоженные камешки скатывались по склону, но, встретив неровность, стебелек травы или другой камешек, останавливались. Какая малость нужна, чтобы удержаться...

Староскотинное осталось позади. Два часа

буераков — и вот впереди новая посадка. Зеленая. Невысокая. Молодая.

Он подошел поближе. Лет двадцать дубкам, не больше. Деревья посажены ровно, рядами, в середине — широкий проход, утоптаный копытами. Лепешка конского навоза — старая, трехдневная. Питаются кони скудно. А с той стороны что?

Поле, просторное, ухоженное. Порубленный осот жух на солнце, а цепочка полевых, расставленная через рядок, шла навстречу, пропавшая кормовую свеклу, буряк. Тяпки, тяжелые, треугольные, поврозь взлетали и падали вниз, подрывая сорняк и рыхля землю. Аккуратно работают, не спехом, а женщина на краю, в красной косынке, успевает и свой ряд полоть, и замечание сделать — звеньевая, видно. Три человека из семерки — мужчины. В диковинку у нас.

Он вышел на идущую вдоль поля дорожку — неширокую, с глубокими узкими следами подвод.

— Здравствуйте!

Тяпки железными головами уткнулись в землю, спины распрямылись.

— Не признаю вас что-то, — звеньевая уголок платка промокнула лоб. Остальные переводили взоры — с него на звеньевую, со звеньевой на него. Запарились здорово... Одежда — то же «наследство империи» — галифе да гимнастерка, на женщинах — форменные юбки, но все старое, застиранное до седины. И обувь — лапти. Оно и лучше, нога дышит, но — непривычно.

— Не признаю, — повторила звеньевая.

— Да мы с вами незнакомы, я впервые в этих местах. В Курносовку иду, да с пути, боюсь, сбился. Куда прибрел, не подскажете?

Лицо звеньевой, миг назад усталое и смущенное, построжало, закаменело.

— Какую Курносовку? Не знаем никакой Курносовки. Идете — и идите себе, не мешайте трудиться, — говор вязкий, с двойными ударениями в длинных словах. Она склонилась больше прежнего, лезвие срезало бок буряка, и, не дойдя рядок, звеньевая перешла на новый, а за ней и все звено.

— То не бригадир ваш? — Петров указал на всадника, показавшегося на краю поля.

Звеньевая обернулась, закричала обрадованно:

— Степан Матвеевич, сюда, сюда, кормилец!

Но всадник — будто и не слышал.

Тяпки вновь заклевали, люди быстренько-быстренько двинулись вглубь поля.

— Чудаки! — Петров пошел по прополотому рядку. Не так чисто и пололи, на троечку, не

больше, даром, что бригадир конный и при нагане. Насчет нагана — это догадка. Далеко.

Петров остановился, повернулся. Метров двести прошел, а бригадир проскакал всю версту. Преимущество коня перед офицером в закрытых позициях любил доказывать предок, даже в учебник внес сию мудрую шахматную мысль.

Бригадира окружили, звеньевая вяло жестикулировала, а тот, потрясая револьвером (наган, наган!) убедил ее так и растак.

Убедил.

Всем звеном, женщина в красной косынке впереди, они потрусили к Петрову.

— Стой! Стой, вражина!

Выстрелом поверх голов бригадир поддержал товарищей.

Бегущие прибодрились и, подняв тяпки, подступили к Петрову.

— Ложись на землю, вниз лицом! — скомандовала звеньевая.

— Вы что, перегрелись? — дыхание у всех короткое, запаленное. А бежали — пустяк.

— Ложись! — и, замахнувшись тяпкой, она шагнула к Петрову.

— Глупая баба! — он легко вырвал тяпку из рук женщины, но тут, загалдев, на него накинлись и остальные.

Даже грустно. Шел человек, гулял, и на тебе! Гуртом налетели, сельскохозяйственными орудиями машут до свиста, а угоди, например, в голову? Но хлипкий народ, жидкий, откуда и злость. Ничего ведь плохого сделать не хотел, разве поучить, вразумить малость, чтобы вдругорядь вежливее были, а они от любого удара с ног — брык! И лежат, уткнувшись в землю. Последняя баба, не сводя с него глаз, пыталась поднять выбитую тяпку.

— Ладно, ладно. — он легонечко вытянул ее вдоль спины, а та, как картонный солдатик, завалилась на бок и затихла.

Он наклонился. Зажмурясь, та закрыла лицо локтем.

Ясненько.

Он осмотрел тяпку. Ручка гладкая, отполированная мозолями, а железная часть — грубой, неряшливой ковки.

Всадник скрылся в посадке, топот быстро затих за зеленой стеной. Хорош. Люди, как порубленные, землю устилают, а бригадир, нет, кормилец — симптомчик! — деру. А куда?

Мужичок, упавший неловко, тихонько зашевелился, меняя позу. Невмоготу, раз на такой риск идет.

Петров деликатно отвернулся.

Синдром опоссума. Полеводческое звено опоссумов. Опоссумизация поведения как реакция

адекватного ответа на внешние раздражители в сельских местностях северо-восточного Нечерноземья. УДК 615.5.006 — 666. Берете тему, коллега? Ученый совет через две недели, готовьтесь к утверждению и включению в план.

Люди лежали смиренно, не решаясь очнуться от глубокого беспамьятства. Кого, интересно, бояться больше? Друг друга?

— Столбняк не подхватите, — Петров бросил тяпку и пошел, не оглядываясь, по полю. Гектаров сорок полюшко.

Второе поле — под паром. Пахота неглубокая. Примечай, примечай... И навозца — кот накал.

Зато посадки — регулярные, здоровые, сухой вырублен, сучьев, валежника нет и в помине, подчищено. Аккуратные квадратики километр на километр. Рожь, ячмень, даже гречиха — мечта горожан. Дважды Петров видел поодаль маленькие, по пять-семь человек, группки, работавшие бесконечную полевую работу, при его появлении на миг распрямлявшиеся, а потом еще усерднее возобновлявшие труд. Ну их. Пусть стараются.

Полевая дорожка, серая, растрескавшаяся земля, прямая, прочерченная по линейке, с крохотными царскими уклонениями, постепенно становилась шире, заезженнее.

Из посадок порой долетало конское ржание, топот. Почетный невидимый эскорт. Уланы с конскими хвостами, драгуны...

Поля кончились, дорога привела в светлую березовую рощу, совсем крохотную, ветроград.

Деревья расступились. Вот и она — затерянная деревенька Гайдаровка. Мало ли их, заброшенных, «неперспективных», разваливающихся, рассыпано по России?

Но эта — особенная.

Вечерело. Роща стояла выше деревни, и та была — на ладони. Три барака, составленные «покоем», крохотная пекарня, кузница, дальше — конюшня, конторское здание, сараи...

Карта не соврала — сделанная по спутниковым снимкам в одной внезапно дружественной стране. А на отечественных... Два соседних района разбухли, растянулись и покрыли собой третий, маленький и забытый в чехарде укрупнений, разукрупнений и переименований волостей, уездов и губерний. Нет здесь ничего. Нету-ти. Очень черная дыра.

Жизнь не кипит. Малоллюдно, пусто, лишь от колодца к бараку сновал человек, носил ведро за ведром, выпайвая унылое строение. Пятое ведро, шестое... Дневальный, надо понимать. А остальные — в поле?

Стук молотка, зуд пилы доносился с тока. Готовятся к страде, ремонтируются.

Наособицу, починком — беленая хата. Большая, высокая, а окна — что в трамвае, одно к одному лепятся.

Опушкой Петров шел по роще, подбираясь ближе.

Сбоку от входа — вывеска: «Школа номер один». Угадал, помнит сердце первую любовь.

Частый легкий топот — и с крыльца сбежал мальчишка:

— Рапортует дежурный по школе номер... — но осекся, глаза забегали неуверенно. Короткие штанишки на косой, через левое плечо, лямке и серо-зеленая майка в крайней стадии ветшания. Цыпки на руках матерые, почтенные, а подошвы — в огонь и в воду!

— Не признаешь? — Петров потер щеку. Непременно следует побриться.

— Нет, — честно ответил мальчишка. — Вы пароль назовите.

— На горшке сидит король, — Петров встал у колодца, стянул гимнастерку, майку. — Сперва воды полей.

Мальчишка завороченно смотрел на мыло, крохотный овальный брусочек «Туриста».

— Лей, не жмись!

— Вы настоящий пароль назовите!

— Погоди, не все сразу, — новый «Жиллет» лихо расправлялся с двухдневной щетиной. Вжик, вжик, уноси готовенького...

— Вы инспектор, дяденька? Из Большой Дирекции? — прописные буквы сами обозначились, сумел сказать малец.

— Нет, не инспектор, — Петров встряхнул станок, помахал в воздухе. Нечего сырость в рюкзаке разводить. — И паролей я не знаю. За чем мне пароли?

— Их только шпионы не знают. Вы засланный, да? — мальчик побледнел, а и без того румяным не был. Гипотрофия первой степени. Метр с кепкой, ребра просвечивают, глаза щурятся близоруко.

— Тебе сколько лет?

— Десять, а что?

— Очки почему не носишь?

— Вы точно шпион, дяденька! Под нашего ряженный, а сам — засланный, — мальчишку колотило от волнения. Решился на Поступок — опять же с большой буквы. — Какие же очки, когда война кругом!

— Пацан, это школа для нормальных или как?

— Трудовая школа, самая лучшая, — обиделся вдруг мальчик. — Если вы сейчас же пароль не скажете, я Ниниванне докажу!

Станок высох, можно прятать. А мыло смылось напрочь, жесткая вода, прожорливая.

— Доказывай, коли доказчик. Где она, Ниниванна?

— На школьном участке, где же ей быть? Так я побежал... — угрожающе протянул мальчик, надеясь, что вот-вот передумает этот дяденька, окажется инспектором и похвалит за зоркость и бдительность.

— Ты в каком классе учишься?

Вопрос снял последние сомнения, и он побежал, сначала быстро, семеня ногами-спичками, а потом, ухватясь за бок, перешел на шаг, и полупехом-полубегом скрылся в роще.

Петров поднялся по ступеням. Мокрый блестящий коридор, с ведра свисала тряпка, полы мыл пацан, дальше — бак с краником, а рядом мягая алюминиевая кружка. Полуприкрытая дверь вела в класс — три ряда эрисмановских парт, черная крашеная доска, глобус, несколько таблиц.

Он читался. Никакой пропаганды: примеры на сложение, правописание жи-ши и круговорот воды в природе.

Единственная чернильница гордо украшала учительский стол. Ручка конторская, с пером «звездочка». Он обмакнул ее. Чернила старые, тягучие. Как насчет классного журнала? Не найти. И парты пустые, ни учебников, ни тетрадей. Лето, каникулы...

Он вернулся в коридор. Наверху, в потолке — открытый люк, ход на чердак, а лестницы нет. Не вводить сорванцов во искушение, в его школе было так же. Метра четыре высота, не допрыгнуть, не кузнечик.

Припасенная «кошка» зацепилась прочно, и Петров, подтягиваясь на руках, полез вверх по узловатому шнуру. Человек-паук, смертелен для мух.

Да, чердачок — что глупая голова. Пустой-пустой. В его школе чердак был забит — старые тетради для контрольных работ, учительские планы, отмененные учебники, стенные газеты, колченогие стулья, творчество юных техников — и не перечислить. А здесь — одна пыль. Нет даже птичьего помета, а окошечко на крышу открыто.

Он устроился на балке. Не осыпать потолок ненароком.

Высокий писклявый голос доносился снаружи:

— Одет инспектором, сразу и не отличишь, умывается с мылом! — Петров начал привыкать к местному говору.

Из роши в окружении двух десятков разновеликих детишек шагала сухонькая старушка. Учительница?

— Ты его хорошо рассмотрел, Витя? — она спрашивала спокойно, неторопливо, как и шла —

классная дама, выгуливающая младых институток.

— Вот словно вас, Ниниванна! Выхожу из школы, а он стоит, высматривает и карту рисует (а и соврал, малец!), меня увидел — с расспросами подкатываться стал, под простачка подделывается, сколько, мол, лет, не хочу ли сахару (ай, вруша!).

— Наверное, это и не шпион вовсе! — перебила Витю девочка, первая ученица, видно — тон болюно уверенный, непререкаемый, — ты ведь известный обманщик!

— Брехло он! — поддакнул подлиза.

— Как же, не шпион! Скажите ей, Ниниванна! Пароля не назвал — раз, борода растет — два, и спрашивал, в каком классе учусь — три! Не шпион...

— Борода и у наших людей бывает, вон, у Толькиного отца, — не сдавалась отличница.

— Не спорьте, — уняла страсти учительница. — Витя поступил правильно, каждый должен брать с него пример. А сейчас марш в класс.

Заскрипели половицы, захлопали крышки парт.

— Тишина! — приказала старушка.

Дисциплина — римская, муравей проползет — услышишь. Петров застыл на балке. Замри-умри-воскресни.

— Витя, Семен, и ты, Валентин! Отнесете записку в правление, вахтенному. Старшим назначаю Валентина. Ясно?

— Ясно, Ниниванна! — и три пары босых ног прошлепали по невысохшему коридору.

— Короткая перемена, — объявила учительница, и словно включили звук:

— Васильчиковым разрешили силки ставить неделю, повезло Сеньке!.. Приходи вечером, в шашечки поиграем... Не завидуй, из рогатки настрелять можно — будь-будь!.. (Неправда! Я лопухи не трогал! Это Венькина сестра их выкопала, даром дура. Я и заявить могу!.. Глупый! От детей на детей заявления не принимают... Не, хитренькая! За мелок перышко давай!..) Зачем Маньке лопухи копать? Ихняя мамка юрода родила, два куля муки получат, счастливые!.. Значит, надерешь у Звездочки из хвоста волос и принесешь. Я лесу сплету, рыбалка пойдет мировая!.. Юрода-то держат еще?.. Не-а, сразу в больницу взяли, а оттуда в Москву. Там их в человек выростят... Вечером шли они с дальнего поля, темь непроглядная, все раньше ушли, а они за старое полнормы отработывали и припозднились. Обещал кормилец встретить, да передумал, станет он ночами блукать. Идут, значит, и вдруг у Черной Аллеи слышат — догоняют их. Поперва обрадовались, окликнули, кто мол, — гул в клас-

се затих, заслушались, — а в ответ плач, жалкий-жалкий. Хотели было подойти, да Дуняша Моталина догадалась спичку запалить. Глянь, а из кустов глаза загорелись, красные, огромные! Поняли бабы — Навбин сын их подманивает, бросились бежать, а он... — закашлялся кто-то и смолк, ошиканный, — подбежит ближе, и опять плакать. Бабы друг дружки держатся, он и не может какую схватить. На счастье, разъезд навстречу попался, стрелять начали, отогнали...

Вернулась учительница:

— Вечерней линейки не будет. День окончен, дети, ступайте. Завтра нам доверена уборка главного убежища, утром по дороге каждый нарвет веник.

— Активу задержаться, Ниниванна? — первая ученица ластилась кошечкой.

— Нет. И ты, Таня, ступай, ступай...

Школа опустела незаметно, расходились чинно, не по-детски сдержанно.

Петров лежал, подложив под голову рюкзак. Избегайте прилива крови к мозгам — и кошмары минуют вас стороной. Также вредно наедаться на ночь. И во всякое другое время суток. Главное — хорошенько расслабиться, дать покой каждому мускулу, связке, косточке, и миг отдыха обернется вечностью, а вечные муки — мигом. Особо в удобной кровати.

Тяжель шаг чувствовалась и на чердаке. Грузнехонек новый визитер, не пацанва.

— Что, Нина Ивановна, звали?

Вторая часть радиопьесы. Лежи, внимай. Передача по заявкам одинокого радиослушателя.

— Садитесь, сержант. Да, вынуждена побеспокоить: мой мальчик утверждает, что встретил какого-то незнакомца.

— Я уже допросил его, мальчишку, то есть. О возможном проникновении нас предупредили еще ночью. На западной окраине района нашли парашют (ну, этот почище мальчика заливаает), а днем с парашютистом бригада Зайцевой столкнулась (а, бригада. Думал, звено. Какая разница).

— Его остановили?

— Какое, он через них как нож сквозь воду прошел. С одного удара в землю вбивал, обученный, гад.

Потянуло махорочным дымком. Кто курил? Оба?

— Повезло, выходит, Вите.

— Повезло, — согласился сержант. — Сейчас усиленные посты выставим, а с утра прочешем округу, каждый листик поднимем, перевернем да на свет посмотрим. Нас, кадровых, мало, а ополченцы ночью трусят. Ждем подкрепления.

— Собак по следу пускали?

— Нельзя. Он дрянь специальную применяет.

Собаки бесятся, проводников грызут насмерть, не оттащишь (что верно, то верно. Информирован сержант).

— Будете здесь что-нибудь осматривать? — казалось, учительница спрашивает заданный урок.

— Думаю, незачем. Силы распылять, это он и ждет. Искать надо организованно, массово. Конечно, он тут был — вода у колодца на земле мыльная, и описание мальчика совпадает с имеющимися. Возьмем.

Снова задрожала балка.

— Я пойду. Заявление ваше мы приобщили, мальчонку поощряют премпайком.

— Не это главное, — сухо ответила учительница, но сержант успел покинуть класс.

Полчаса спустя и учительница задвигала стулом, потом звякнул замок в петлях.

Опустел рассадник знаний. Можно встать, потянуться, спуститься вниз. Время вечернее, солнце на закате, красиво. Усталые поселяне вернулись с трудов и вкушают плоды нив и пажитей своих. Самое время подкрепиться. Окошки хоть и не широкие, да уж не застрянет.

4

— Кто идет? Кто идет, спрашиваю? — выставив перед собой винтовку, мосинскую, с беспощадным трехгранным штыком, мужичок настоженно вертел головой. — Стрелять ведь буду!

— Погоди стрелять, — небрежно отвел ствол к земле другой, старший секрета. — В кого стрелять собрался?

— Ну... Шуршит... — неуверенно ответил первый.

— Где шуршит?

— В овраге... — мах руки лукавил градусов на тридцать. Ополченец, охранничек...

Петров стоял у дерева, выжидая, когда очередная туча спрячет месяц.

— Ты сегодня не дури, забудь про бабьи страхи. Человека стережем, ясно? Увидишь его — и стреляй, разве жалко, а попусту шуметь не моги. Понял?

— Понял, — уныло согласился первый. — Я вижу слабо, куриная слепота.

— Зря не колготись, стой смирно, — выговаривал старший. — Раскрываешь секрет, дурак.

Петров оставил пост далеко за спиной, а старший, войдя в раж, все отчитывал бедолагу. Везде одно и то же.

В бараках тьма, окошечки смоляные. Лишь в конторе жгут керосин, густой желтый свет нехотя выползал из-за занавесок. Кумекает правление, бдит. Часовые контору, как елку, обхаживают, хоровод водят. Славно.

Он прошел дальше, вспоминая примечания к аэрофотосъемке. Напротив каждого объекта — вопросительный знак. Или два. Догадайся, мол, сама.

Подземное сооружение — в левом верхнем углу карты. Квадрат А-девять. Попал.

А ну, как не угадал? Блукай ночью, шпион несчастный. Вход — что в овошехранилище. Уходящий под землю спуск, каменные ступени, а дверь железная, банковская. Вторая — потоньше, но отпирается той же отмычкой. Двойной тамбур, очень мило. Воздух застоявшийся, сырой.

Петров пробирался по подземному залу, вода по сторонам электрическим фонариком.

Большой. Если в тесноте — человек на двести. Котлован. Мы рыли, рыли и, наконец, отрыли. Трубы, вентиляционная установка на велосипедной тяге, трехъярусные нары, станки Павловского, скамейки, словно в летнем кинотеатре, баки с водой, затхлоу, старой. Отхожее место, по счастью, в простое. Стены кирпичом выложены, деревянные стойки подпирают низкий потолок. Неграновитая палата. Завтра, вернее, уже сегодня, придет племя младое, незнакомое и благоустроит свежесорванными вениками приют последнего дня. Надо до них и самому что-нибудь сделать, подать пример доблестного освобожденного труда.

5

Предрассветная мгла вязка и непроглядна. Никакой мистики — закатился и месяц, а звезды что? Пыль, дребезги. Горел бы какой-никакой фонарь, но нет, затлеет разве вишнево огонек вдали, знать, караульщик сигаркой затянулся, а спустя вечность долетает: кхе, кхе! Дрянная махорка, но крепка, за версту слышна, зело вонюча.

Петров крался тихо, осторожно. Не хватает ногу подвернуть либо в канаву свалиться. Жмурки — хорошая игра, но не до смерти же, сударь ты мой!

Окошки правления, что сигнал потерпевшему кораблекрушению: два желтых и один зеленоватый, ЖЗ — 1,4. Наверное, абажур на лампе.

Часовой продолжал хороводиться. Охрана по периметру, нахождение часового в нужном месте описывается головоломным уравнением Шредингера. Не знал его никогда, иначе стал бы ночью по деревне бирюком шастать. Все медведи спят, один я не сплю, все хожу, ищу, ищу... Верни, мужик, мою отрезанную лапу!

Петров скользнул в приоткрытую дверь. Вишевшая на крюке «летучая мышь» экономно прикрученным фитилем едва освещала спавшего за

столом дежурного — по крайней мере, на красной повязке, косо сидевшей на правой руке, виднелись белые буквы «ЖУРН». Журналист, разве?

Миновав соню, Петров толкнул дверь в кабинет. Обивка — дерматин, войлок выбился из прорех.

Два стола, составленные «твердо», а в кресле в углу — широко, кожаном, с валиками по бокам, — спал хозяин. И форма поновее, и лицо сытое, гладкое. Первое сытое лицо после Глушиц.

— Эй, землячок, просыпайся! — Петров хлопал спавшего по плечу. — Просыпайся, душа моя, пора!

— А? Что? — гладкий встрепенулся, открыл глаза и вскочил, вытягиваясь. — Мы вас только утром ждали. Как долетели, хорошо?

— Я не летел. Пешком пришел.

— Как — пешком? — капельки гноя скопились в углах глаз, но — субординация, руки по швам.

— Ножками. Топ-топ, — Петров пальцами изобразил шагающего человечка. — Нет ничего лучше пешего похода. Знакомись с родным краем подошвами, подробности открываются — поразительные!

— Вы не... не... — гладкий напрягся, порываясь подняться над полом, будто поддетый сверлом бормашины за чувствительный зуб.

— Я — не, я человек смирный, — Петров отодвинул стул от стола, поставив напротив кресла. — Кобура — так, для фасона. Посидим, покалякаем, скучно ночь коротать в одиночестве, а за разговорами, глядишь, и утро скорее наступит. Да ты садись, садись. Гостей ждем?

Кресло и не скрипнуло — гладкий опускался осторожно, как на ежа.

— Что урожай, богатый? Хватит на всех?

— А-га...

— Приятно. Надоели, понимаешь, талоны свиначьи, а валюты нет. До слез, бывает, доходит; кушать хочется отчаянно, а — не купишь. С урожаем полегче, авось, станет. Так кого ждем, душа моя?

— У... Уполномоченного.

— На вертолете, небось, прилетит? Как думаешь, меня захватит?

— Нне... Не знаю.

— Не возьмет. Спесьевата новая власть. Старая хоть для вида снизойти могла, а эти... Послушай, а что ты здесь делаешь ночью-то?

— Положено, — глаза гладкого смотрели мимо Петрова.

— Дисциплина? Уважаю. Кроме сони в коридоре еще кто тут есть?

— Есть, — голос усталый, ни торжества, ни злорадства.

Петров оглянулся. В дверях — Нина Иванов-

на, скромная сельская учительница. В ее руке пистолет «ТТ» смотрелся непомерно большим, тяжелым.

— Вас-то, Нина Ивановна, каким ветром сюда занесло?

— Все в правлении дежурят, по графику, чем я лучше?

— Да, действительно. Позвольте стул предложить, а то неудобно — два мужика сидят, а дама...

— Не подходите, — зрачок пистолета смотрел прямо в лицо Петрову. Ученический кошмар — педагогическая хунта захватила власть.

— Странные вы какие-то. Пришел человек, пусть и незнакомый, а вы — облавы устраиваете, шпионом объявляете.

— Военное время, — пожала плечами учительница. — Разберутся. Не виноват — выпустят.

— Военное время? О чем это вы?

— Как — о чем? — озадаченная Нина Ивановна забыла про пистолет.

— Слава Богу, с сорок пятого года мирно живем.

— Ах, мирно, — учительница вновь прицелилась. — Нет войны, говорите? Нам только кажется, да? И похоронки — обман? И бомбу на нас не бросали?

— Бомбу? Какую бомбу?

— Такую! Атомную, семнадцатого июля одна тысяча пятьдесят второго года, — она подошла ближе, глаза сверкнули отраженным желтым пламенем. — Два села исчезли, испарились, из тысячи сто выжило.

Пора. Петров качнулся на стуле назад, упал шумно, громко, но не громче пистолетного выстрела. Пуля прошла выше, годы есть годы, а повторить не придется.

Он выбил «ТТ» из руки учительницы, выскочил в коридор и, мимо ошеломленного дежурного, — на улицу.

Небо на востоке посветлело, но на земле — потемки.

Он перешел на быстрый шаг, позади запоздало хлестали винтовочные выстрелы, часовому для отчета.

На сереньком фоне показались высокие стойки ворот. Самих ворот нет, ограда — проволока на кольях. Отделение МТС, машинно-тракторной станции. Сеялки, веялки, жатки... Пахло ржавым железом, старой прогоркшей смазкой.

Чу! Бензином потянуло!

Он подошел ближе. Спецмашина, за кабиной — цистерна, массивная, толстостенная. Хочешь — ядохимикаты разбрызгивай, хочешь — удоб-

рения. Все, что хочешь, можно. Исключительно практичная вещь.

Он приоткрыл дверцу кабины. Поедем, нет? Мотор завелся сразу, будто ждал. Только — ко-го?

Дорога тряская, не разгонишься. Он попробовал включить фары. Нет, не вышло. Пустяки, сейчас солнце встанет.

От медленной, почти на ощупь, езды машина скрипела, потрескивала. Старушка, работающая непраздная старушка. Ничего, расходится — удержу не будет. И солнышко красешком показало-сь.

В зеркале заднего вида — замутненном, со сколотым уголком, показались всадники. Пого-ня? Могут и догнать, машину в карьер не отпра-вишь, плетется рысью как-нибудь. Могут, но не хотят, держатся поодаль. Пять-шесть, не больше. Не стреляют, зачем свое добро портить, дыря-вить?

Дорога подобрела, ухабы затянулись, и Пет-ров прибавил скорости. Ходу, ходу, в Староско-тинное больше ни ногой. Если повезет.

Дорога шла посреди поля, всадники потеря-лись в пыли. Начихаются вволю.

Высокое, до свербежа зубов дребезжание сте-кол перекрыл тяжелый рокот. В груди заныло, защемило. Что за музыка?

Он притормозил, открыл дверцу, выглянул. Над полем завис вертолет — давешний, с крас-ной звездой. Плохо. Шуточки кончились. Одной рукой держа руль, Петров выворачивал зеркало, пытаясь поймать отражение вертолета. Мотор перегрелся, скоро закипит вода.

Едут и смеются, пряники жуют!

Полоса лесопосадки приближалась, но верто-лет рос на глазах, вздувался, вспухал. Десять ки-лометров и проехали, если спидометр не врет. Четыре девятки выстроились рядом. Знамена-тельное событие, юбилей. Сейчас откроется счет второй тысячи километров. Всего второй.

Машина подъехала к проходу в посадке и, чуть запоздав, полыхнуло вверх. СНРС. Само-наводящийся реактивный снаряд.

Петров выпрыгнул из кабины сжавшись, ниче-го наружу не торчит, но земля твердая, что раш-пиль, я колобок, колобок, рядом грохнуло, сквозь зажмуренные глаза коротко вспыхнуло, а дальше — тьма.

6

Милостивые государи и государыни!

Мое сегодняшнее сообщение целиком и полно-стью посвящено одной единственной теме — судьбе проекта «Опытная Делянка».

Немного истории. Появление атомного оружия

поставило перед правительством нашей страны вопрос: что будет с ним, правительством, после взрыва, когда, переждав положенный срок, «чле-ны» выберутся на поверхность? Кто и как встре-тит их? Сохранится ли общественная иерархия, или их ждет неуправляемая одичавшая стая? Со-гласитесь, обидно решительным ударом сокру-шить противника, а в награду остатки своего же народа вдруг забросают камнями или, того хуже, съедят? Стоит ли затеваться, кровь проливать?

Сценарии теоретиков не внушали доверия взыскательным заказчикам: они знали истинную цену исполнителям, их стремление угадать же-лаемый результат и подогнать ответ. Критерием истины признан опыт, его решили поставить, так и родилась «Опытная Делянка».

Порожденная атомным проектом, она зажила своей, особой жизнью, представляя собой секрет секретов, знание которого было знаком доверия исключительного, как мера наказания.

Место подобрали без труда — в стране практи-чески отсутствовали, да и по сей день отсутству-ют правдивые крупномасштабные карты местно-сти, обладание же топографической картой рас-ценивалось как тягчайшее государственное пре-ступление. Огромные площади вообще не пока-зывались на картах, искажения практиковались повсеместно «с целью введения в заблуждение вероятных противников, шпионов и диверсан-тов». Порой нежданную выгоду получал и народ — колхозы распахивали неучтенные площади, чем и кормились. Но это так, к слову.

«Опытную Делянку» наметили разбить в тогда еще Меньжинской области. Среднерусская поло-са, плодородие почв и климат близки к Подмо-сковью. Район вокруг «Делянки» пропололи, часть жителей по оргнабору вывезли на стройки, другим просто дали паспорта и отпустили в город счастья искать, третьих сослали, четвертых поса-дили, пятых... Предлог для выселения нашли простой — великая стройка. То ли завод секрет-ный вырастет, то ли море рукотворное.

Село, особенно село сороковых-пятидесятих годов — тот же трудовой лагерь. Работы много, тяжелой, изматывающей, дисциплина казармен-ная, выходной — слово неизвестное, и что проис-ходит за двадцать-тридцать километров, никого особенно не интересует. Не до того.

Заселили «Делянку» простым проверенным способом: похватили крестьян семьями из Мос-ковской, Тульской, Калининской областей, за анекдоты, недоперевыполнение трудовней, ку-лацкие настроения, проживание под немцем, да и просто так — контингент требовался среднеста-тистический и состоять должен был в основном из законопослушных граждан. Объявили амни-

стию, лагеря заменили коротенькой ссылкой, да не в Сибирь, не в Казахстан, а рядышком, поблизости. Наверное, радовались мужики, что отделились испугом — привезли не на голое место, а почти домой, колхоз, он и везде колхоз. Через месяц, перезнакомясь и пообвыкнув, и не смогли бы, поди, сказать, отличается ли новая жизнь от старой хоть чем-нибудь. Разве что письма к ним не доходят, так и не пишут их, верно, кто же пишет осужденным?

Наблюдения за «Делянкой» осуществлялись как изнутри, штатными и нештатными сотрудниками «органов», так и снаружи — наезжавшими «уполномоченными» и прочим начальствующим людом, а в действительности — кадрами проекта.

Бомба, взорванная над «Делянкой», относилась к маломощным, порядка трех килограмм. В областной «Коммунаре» появилась обширная статья о необузданных силах природы — смерчах, тайфунах, грозах и ураганах. В селах близ «Делянки» — то есть на удалении тридцати километров, кое-где повывлетали стекла — и только.

Самой «Делянке» повезло меньше. Предупрежденные воздушной тревогой — время-то суровое, послевоенное, — люди попрятались по погребам и щелям, но из полутора тысяч уцелело около трехсот, из них половина скончалась в первые недели после взрыва. Наземный, он вызвал радиоактивное заражение в эпицентре. Было объявлено, что началась новая война — страны НАТО развязали неспровоцированную агрессию. Никто не удивился.

В связи с военным временем срок ссылки продлевался на неопределенное время, вводился новый режим работы, ужесточились наказания. Сверху пришла помощь, уцелевших больных вывезли на госпитальную базу.

Люди не бунтовали и не дичали. Ведомые активом (разумеется, не знавшем, что идет не война, а эксперимент), они отстроились и продолжали работать — теперь уже совсем без отдыха, без денег, без просвета — война же. Обладание любой радиодеталью каралось по законам военного времени, общность казарменного быта исключала возможность создания простейшего детекторного приемника — все было на виду. Изредка завозимые газеты и листовки печатались специально для «Делянки».

Изоляция «Делянки» поддерживалась рядом мер. Объявленная запретной зоной, окруженная постами, не знающими, что охраняют, ракетный полигон или госдачу, она находилась в сети информаторов. «Пасечники», «пенсионеры» жили у исчезающих дорог и о каждом случайном путнике сообщали отрядам-чистильщикам, и те без сантиментов решали проблему. На путника на-

падала банда — и, избитый, раздетый, тот поворачивал назад — если зашел недалеко. Если далеко — не возвращался. За сорок лет с момента взрыва удалось отыскать семьдесят четыре заявления о пропавших без вести, осевших в архивах областной прокуратуры, которые можно предположительно записать за «Делянкой». С годами нравы смягчились, и настырных путешественников обычно поили водичкой с добавкой дизентерийного токсина, после чего путешествие оканчивалось в инфекционном стационаре.

Были попытки прорыва и изнутри «Делянки». На поиски беглецов бросались местные активисты, но тем иногда удавалось выбраться за пределы «Делянки». Тут их встречали «пасечники», и человек исчезал. Введенная система заложников, когда за беглеца расплачивалась вся семья, держала крепко, тем не менее достоверно известны два случая помещения в областную психиатрическую больницу «неизвестных», в картине заболевания которых фигурировал бред атомной войны. Оба случая закончились смертью больных в первые сутки «от аллергических реакций на введенные медикаменты».

Круг посвященных в проект «Опытная Делянка» со временем не ширился, а, напротив, коллапсировал. Диссертации типа «Влияние гамма излучений на органогенез в первом триместре беременности» защищали закрытым советом, а свежеспеченный обладатель ученой степени вдруг скоростно покидал этот мир, на что коллеги сокрушенно качали головами: «Работал в очаге, бедняга. Сгорел». Постоянно шла выбраковка и технических сотрудников. О существовании «Опытной Делянки» знало первое лицо государства, первое лицо государства в государстве и около дюжины непосредственных исполнителей. Остальные, задействованные в проекте — охрана периметра, снабженцы, транспортники и прочая, знали, что работают на сверхсекретном объекте, но каком — лучше и не гадать, полезнее для здоровья.

«Делянка» жила скромно и незаметно, не ведая, что решает вопрос — быть или не быть атомной войне.

На удивление быстро стабилизировалась численность населения — высокая смертность компенсировалась бурной рождаемостью. Выросло новое, военное поколение, для которого вся вселенная ограничивалась деревней и прилегающими полями.

Идеологизация свершилась незаметно. Власть сосредоточилась в руках «правления» — административной головки колхоза. После взрыва состав правления изменился полностью — прежнее руководство растерялось в хаосе первых

часов, и пришли люди, явочным порядком ставшие во главе. Партийные органы исчезли, карательные играли вспомогательную роль. Выращенного на полях едва хватало на относительно сытую жизнь правления и полуголодную всех остальных, и правление не разбухало, зубы не тупились. Центр не вмешивался в происходящее по условиям эксперимента, а ограничивался наблюдением, изредка снабжая правление керосином, бензином, спичками — аналог госрезерва. Неугодных правление «призывало в армию» с последующей похоронкой семье.

Внезапная, внеплановая смена руководства страны торпедировала программу «Опытная Делянка». Опасаясь, обоснованно или нет, нового Нюрнберга, посвященные не передали своим сменщикам тайну «Делянки». А нет программы — нет и финансирования. И новый финансовый год не припас денежек ни «пасечникам», ни «чистильщикам». Отсутствие периметра привело бы к открытию «черной дыры», а находка деревни, пребывающей в состоянии атомной войны — это не Лыковская заимка, пахнет нюрнбергской петлей. Поэтому посвященные решили приступить к эвакуации «Делянки».

Под эвакуацией подразумевалось исчезновение деревни, прежде всего ее обитателей. План эвакуации, разработанный в первые дни возникновения «Делянки», подобно пресловутому портфелю Мольтке-старшего, дождался своего часа.

Откуда наша организация узнала о проекте? Первая ниточка потянулась от санитаря психиатрической больницы — беглец из «Делянки» убежал-таки его, да так, что санитар молчал все эти годы, благодаря чему сумел уцелеть и сообщить нам о существовании деревенской Хиросимы. При финансовой проверке спецслужб обнаружались лица, регулярно получавшие доплаты «за особо вредные условия труда». Таких оказалось многовато, но одного «делянчика» отыскать среди них удалось. Выторговав отпущение грехов, тот выдал нам то, что знал. Он и предупредил, что любой прорыв периметра приведет к немедленной «эвакуации» населения в считанные минуты.

Единственное, на что можно было надеяться — это то, что один человек не вызовет экстренной эвакуации — его примут за случайного бродягу и предпочтут завернуть, остановить или убить. Поэтому перед отрядом вторжения был послан один разъединственный человек — собрать сведения, отвлечь внимание на себя.

Пожалуйста, вопросы. Результаты эксперимента «Опытная Делянка»? Судя по тому, что мы с вами выросли и живем, а не взлетели со спокойной улыбкой в стратосферу, как обещал поэт,

руководство посчитало, что опыт «Делянки» не слишком обнадеживает. На Западе? Не знаю, мы и свою делянку только-только отыскивали. Хотя... помните Гайану, массовую смерть поселения «сектантов» после того, как туда вылетела правительственная комиссия? Боюсь, наши «делянчики» кончат так же. Господа, господа, конференция не закончена, куда же вы?

Чудно — почтеннейшая публика на глазах съежилась, уменьшилась многократно, превращаясь в райские создания — тропических бабочек, калейдоскопом закруживших по залу и ярких трепетных колибри. А сам конференц-зал, серый и скучный, обернулся оранжевым — душной, жаркой, бабочки порхали с цветка на цветок, сухо потрескивая огромными крыльями-веерами. Забавно, только что пресс-конференцию давал, и вдруг — оранжевый. Ни орхидей, ни роз — одна герань с приторным назойливым запахом. Мещанский цветок, говорят. Почему мещанский, а не крестьянский или, скажем, купеческий — молчит наука.

Над цветами неподвижно зависли колибри, крохотные длинноклювые птички-щебетуньи. Бабочек больше, они крупнее, жестче, и терпеть птичье соседство явно не собирались. Налетели дружно, разом, и пошла-поехала разноцветная ярмарочная карусель — бочки, иммельманы, мертвые петли. На руку капнуло. Не дождь, кровь, алая птичья кровь. И тут же — брызги бесцветной жгучей жидкости, кровь бабочек. Ах, рай, раек. Пора выбираться — если еще не поздно. Делай — раз! Делай — два! Делай...

7

Петров открыл глаза. Песком запылило, пылью? Слезы катились беспрерывно, дешевые луковые слезы.

Он пошевелился — сначала одной ногой, другой, затем руками. Цел, ни переломов, ни вывихов. Упал, как учили.

Осторожно подтянув ноги к животу, он встал на четвереньки. Верный Джульбарс опять в строю.

Часы на левой руке, что витрина магазина после погрома — разбиты и пусты. Ладно, плюс-минус неучтенный рентген... Удачно, что на сух не напоролся, собирай сейчас кишки. Влетел в кусты, словно братец Кролик, отлежался — и здоровехонек. Сколько пролежал? Судя по солнцу — полчаса, не дольше. И пресс-конференцию успел дать, и в рай побывать...

Он выпрямился, раздвинул ветви руками.

Машина догорала. Дым занявшейся резины, черный, тяжелый, сплетался с белесым паром, бившим из развороченной цистерны.

Вскипело варево в напалмовом пламени, и теперь из котла Гингемы поднималось грязное, пахучее облако. Выпадет где-нибудь дождиком, и пойдут грибы-гробовики, успевай рвать да хоронить.

Повезло, ветерок тянет прочь, иначе и не очнуться.

Он чихнул раз, другой. Ветер ветром, а толика газа досталась, вон и руки в зудящих пятнышках, и лицо чешется.

Вокруг ни вертолетов, ни всадников. Кому охота травиться ради сомнительного удовольствия констатации факта смерти некоего Петрова, пусть даже и шпиона. Не до того. Близится час «Ч». Эвакуация.

Он пошел назад, к деревне, на ходу разрывая вытасненный из кармана индпакет, промокая бинтом веки, лицо, руки. Газ не сало, потер — и отстало.

Он возвращался полем, той же дорогой, которой и выбирался из деревни. Казалось, ехал долго, вечность, а ногами за два часа одолел. Никаких полеводов, никаких ополченцев. Оставаться колоскам в большом колхозном поле несобраным.

Короткая колонна двигалась от барачков к убежищу — все в серых плащах-накидках, на лицах — противогазные маски с хоботами, уходящими в болтавшиеся на боку сумки.

— Левой, левой, раз-два-три! — покрикивал мельтешащий на обочине распорядитель. Командовал он не в такт, но колонна ловко, как один, меняла ногу, принаравливаясь к ритмичным восклицаниям вожатого.

В этот радостный день улицы стали шире от проходящих праздничных колонн, украшенных знаменами и транспарантами...

Петров заморгал, сгоняя неиссякающие слезы. Тем, в противогазах, видно куда хуже, но идут...

Он стоял в кустарнике у посадки, листья, касаясь кожи, стрекали крапивой.

Нечего на листья пенять.

За колонной вольно, свободно двигалась группа, человек десять. Отсюда видно — крепкие, ветер не свалит. Правление. Выпала одна учительница: сухонькая, прямая, она держалась в сторонке, не сливаясь с руководящей массой, и все тянулась к колонне, замыкали которую ее воспитанники, мал мала меньше.

Летучая мышь. Белая ворона.

У входа в убежище колонна остановилась — раз, два! — и четко, сноровисто, перестраиваясь в цепочку по одному, заструились внутрь серые фигурки, уходя под землю песчинками часов-трехминуток.

Закрылась дверь за последним — железо лязг-

нуло о железо. Кучкующееся правление заторопилось дальше. Второй бункер. Ай-ай, как можно было не заметить? Ночь, темно, страшно — отговорки для новичков. Пораскинув мозгами, любой поймет, что нельзя отсиживаться вместе руководителям и руководимым. Да и поглубже, наверное, убежище у правления, поуютнее.

Учительница рассталась с группой у самого входа. Двое протянули ей руки, но та покачала головой — протестующе и в то же время властно. Трогательно — возвращение педагога к ученикам за миг до начала атомной бомбардировки.

И, небесным слоником, у горизонта, вынырнул пузатый вертолет в лишайных пятнах камуфляжа.

Нина Ивановна, не добежав до убежища, упала, прикрыв голову руками, а ветер бесстыже пытался задрать неширокую защитного цвета юбку.

Наши летят, наши.

Деревья закачались, согнулись, сорванные листья воробьями порхнули прочь — вертолет опусклся у края поля, и воздух, гонимый винтом, поднимал пыль и сор.

Земля дрогнула прежде, чем вертолет коснулся поверхности. Беззвучно, неслышно за рокотом мотора, просела она широкой округлой каверной. Наступил-таки слоник одной ножкой аккуратно на правленческий бункер.

Простите. Недошпионил.

Попрыгали, покатались и стали кольцом вокруг борта семеро из одного стручка. Не семеро, тридцать, brave спецназовцы Ночной Стражи.

Петров выбрался из кустов и, стараясь не смотреть на усеянные пузырями руки, побрел к вертолету. Запоздало, но оттого особенно зло отозвалось ушибленное бедро, но он не позволил щадиться, хромать. Позже, когда будет ближе теплая ванна, постелька, телевизор, набитый умными, уверенными людьми, не грех и расслабиться, надеть шлепанцы и сесть в кресло у шахматного столика, на котором стоит-ждется позиция партии с Ковалевым, открытое первенство России по переписке. Лучше всего двинуть пешечку на А-четыре.

Майор выбежал навстречу.

— Виктор Платонович, как вы... — и осекся.

— Хорош, правда? — тот усмехнулся, и пузырек в углу рта лопнул, пустив кровавую дорожку по подбородку. — Посылайте отряд к большому убежищу, люди там, внизу.

— Люди?

— Все население «Делянки». Почти все.

С тихим шорохом обваливались края каверны, едкий дым слабо курился в наступившем штиле.

Параллельная цепь. Правленцы думали, что

взрывают большой бункер, а получилось — только себя. В большом бункере-то ночью шпион потрудился. Хвастун шелудивый.

— Семененко! — позвал майор, но доктор и сам спешил, серебристый чемоданчик в его руке сулил благодать и облегчение.

— Сейчас, сейчас, Виктор Платонович, — крышка щелкнула, откинулась, врач замер над открывшимся богатством.

— Что это там горит? — майор кивнул вдаль.
— Летели, видели.

— Вещественные доказательства. Автоцистерна с люизитом. Думаю, для страховки держали, закачать в убежище, если что не сработает.

Солдаты выбили дверь бункера и нырнули вниз. Разберутся.

— Сначала глаза, — врач закапал из флакона с пипеткой-насадкой. — Побольше, пусть промоет как следует.

Петров дернул головой — жечь стало еще сильнее.

— Все, все, Виктор Платонович, больше не буду, — пена из другого баллончика облепила руки, лицо, врач водил у шеи. Кондитером ему работать, торты к юбилеям украшать.

Петров расставил руки в стороны, глядя, как падают наземь ошметки медовой пены.

— Одежду сменить нужно, — скомандовал врач.

— Позже. Она защитная.

Люди поднимались на поверхность и, ослепленные солнечным светом, сбивались в беспомощную толпу, рыхлую, аморфную. Дети ожили быстрее других, настороженно-любопытно поглядывали на странно не злых солдат.

— Мы для них сейчас — чужаки, захватчики, — вернувшийся майор озабоченно смотрел на часы. — К полудню автоколонна подойдет. А пока — накормим людей. Желудок, он лучше всего убеждает, кто друг, а кто враг.

Из выгруженных ящиков рослый старшина доставал пакеты и раздавал робевшим людям. Дети и тут побойчее — бережно снята золоченая фольга, надкушена первая шоколадка. Приспособятся.

— Пайки, чай, бундесверовские?

— Что? — майор озадаченно взглянул на Петрова, потом рассмеялся. — Действительно, дали маху. Ничего, пусть привыкают.

Учительница поднялась из ложбинки, отряхнулась машинально от пыли и, отрешенно глядя перед собой, неуверенно приблизилась к остальным.

— Нина Ивановна, Нина Ивановна, вам сюда! — позвал Петров. Не узнала, конечно, но — подчинилась. Горька участь пленника.

— Позвольте представить: майор российской армии, командир отряда Глушков — учитель...

— Власовец, — перебила учительница, презрительно усмехаясь. Держит марку.

— Зачем же сразу ярлыки навешивать, Нина Ивановна? Нехорошо. Непедагогично. Вашего звания, правда, не знаю, думаю, постарше. Или спецзвания сохранили на «Делянке»?

— Не понимаю, — устало ответила учительница. Срослась, сроднилась с ролью.

Майор настороженно смотрел на Петрова.

— Глаза вас выдали, глаза. Вы ведь из зачинателей «Делянки», еще бериевского призыва, не так ли?

— О чем вы? — недоумение естественное, не фальшивое.

— Любой окулист скажет, что у вас иол.

— Что? — майор подобрался, напрягся.

— Интраокулярная линза передней камеры глаза, федоровский хрусталик, иначе. С возрастом катаракта развилась, пришлось отлучиться от подопечных, оперироваться. Днем-то незаметно, а в темноте при свете лампы нет-нет, а и сверкнет глазами, дух захватывает.

Учительница мотнула головой, но майор успел, зажал рот ладонью.

— Ампула в воротнике? — свободной рукой он нащупал ее, улыбнулся. — А мы ножичком, чик — и нет!

Хватит, пора и честь знать.

Петров сел в тень вертолета, стараясь не слышать, как рвется из рук дюжих спецназовцев учительница. Забыв про шоколад, жались к взрослому ребятишки, а те, стараясь не смотреть в сторону вертолета, давась, глотали вдруг ставшие поперек куски. Ничего, скоро запросите головой выдать — и Нину Ивановну, и других. Хотя... Кто знает.

Подошел врач, бросил пустой шприц в землю, и тот закачался на длинной игле.

Цветик, ягодка моя.

— Пять кубиков реланиума. Едва уgomинилась. А как вы?

— Терпимо, — пробормотал Петров.

— Ничего, до свадьбы заживет, — врач запылся, покраснел. — Извините, глупость сморозил.

Петров не шевельнулся.

Замереть, не думать, не чувствовать, и тогда, есть надежда, придет, наконец, он — чистый, спокойный сон.

секретарем в редакцию «Пермских губернских ведомостей». С этой газетой он был связан вплоть до 1917-го.

В Перми жена родила Ивану мальчика. Но вскоре у нее обнаружился туберкулез, она умерла. Умер и трехмесячный сын, отправленный с бабушкой на стекольный завод... Ряпасов тяжело переживал смерть близких. «Чуть не рехнулся с горя... стал хмур, необщителен, задумчив. Не нашел ничего лучшего, как уйти с головой в любимую работу»...

Он много пишет. В «Пермских губернских ведомостях», газете сухой и скучноватой, Ряпасов ведет рубрику «Наброски» — еженедельные фельетоны «на злобу дня». Совершил путешествие по Волге и Каме, побывал в Москве и Петербурге — и в течение 1910 года опубликовал живые «Путевые заметки». Подписывался обычно И. Р-ов или Рок. Как возник последний псевдоним — неясно.

Увлеченно пишет И. Ряпасов свой первый научно-фантастический роман «Неведомый город». Работа шла удивительно быстро: начал его 15 мая 1912 года, а 12 декабря того же года — закончил. Книга явилась первым воплощением в жизнь тех замыслов, что выкристаллизовывались еще в Екатеринбурге в спорах с Колотовкиным: «изобразить успехи науки и техники в ближайшем будущем, дать юношеству соответствующий материал для чтения».

Но вот роман завершен. Автор предлагает его журналу «Природа и люди», вроде бы охотно печатавшему подобные сочинения. Отказ... Затем последовали отказы от «Нового слова», от издательства Ступина, от других редакций и издательств...

А вскоре автора подкараулила новая беда. Иван Григорьевич, человек жалостливый, поручился по векселю на 200 рублей за сослуживца. Но тот скрылся в неизвестном направлении. И пришлось Ряпасову в 1913 году, распродав все свое имущество, расплачиваться с чужими долгами.

По совету врачей, признавших у него туберкулез легких, Ряпасов едет в Сочи. Там он познакомился с Ниной Львовной Поповой, уроженкой Урюпинска, что на Дону. Вскоре они поженились. Оживший Ряпасов начал писать продолжение «Неведомого города» — роман «Наследство Блома».

Подлечившись, он едет в Москву и Петербург — пробывать свою первую книгу. Обошел множество редакций и издательств — безрезультатно... Ряпасов сильно поиздержался, однако даже репортерской работы найти не смог. Отчаявшись, подумывал о самоубийстве...

Работу ему, наконец, удалось найти — редактором газеты «Эхо» в далеком приазовском Бердянске. Оклад положили 100 рублей. Но газета дышит на ладан, никакой уверенности в завтрашнем дне! Прослышав, что в Батуме требуется опытный редактор, Ряпасов снова срывается с места. Однако ничего, кроме малярии, мучившей его потом долгие годы, оттуда не вывозит. Вернувшись в Бердянск и подзаработав немного денег, Ряпасов снова едет в столицу — устраивать свою книгу.

И тут — наконец-то Ивану Григорьевичу повезло! Его роман приняло издательство Стасюлевича. Правда, пришлось сменить название (вместо «Неведомого города» — «Гроза мира») и фамилию автора (вместо безвестного И. Ряпасова автором теперь числится некий «француз» И. Дерок; издатель, видимо, хотел этим подчеркнуть генетическую связь книги с творчеством Жюль Верна). Но главное, Ряпасову пришлось согласиться на выплату гонорара (1000 рублей) частями. Кстати, он получил из них всего триста... Вместо подзаголовка «роман» стояло «фантазия для юношества». Однако книга, увидевшая свет в 1914 году, была прекрасно издана: хорошая бумага, многочисленные иллюстрации художника И. Гурьева (почему-то не упомянутого в книге). Яркая обложка: на фоне загадочных решетчатых башен, огромных летальных машин и рушащихся гор, мечущихся людей — алыми молниями название книги...

Сюжет — в духе жюльверновских «необычайных путешествий». Инженер Березин, доктор Руберг и студент Горнов отправляются в Туркестан, заинтересовавшись таинственными шифрованными радиосигналами. Заблудившись на Памире, они забредают... в Гималаи и попадают в засекреченный город, в котором физик Блом, англичанин, разрабатывают новые виды оружия, готовясь к будущей англо-германской войне (она, как вскоре выяснилось, была не за горами). Цели у Блома самые что ни на есть благородные — навсегда прекратить на земле войны... сделав для этого Англию сверхдержавой, борьба с которой бессмысленна. После ряда приключений, ознакомившись со многими секретами Блома, наши герои, которым грозит «почетное» заключение (будучи потенциальными союзниками Англии, они, тем не менее, могут разгласить военные тайны), с помощью внучки профессора Кэт бегут в Россию, позаимствовав в ангаре Блома самолет новейшей конструкции.

Подражая Жюлю Верну, Ряпасов насыщает повествование разнообразными сведениями по географии, ботанике, стремится экстраполировать в будущее научные открытия, которыми было так богато начало столетия, пытается предугадать их последствия...

В январе 1914 года И. Ряпасов снова в Бердянске: пытается спасти свое погибающее «Эхо». Но, несмотря на все его усилия, в августе газета обанкротилась. Ряпасов едет в Урюпинск, к родителям жены. К этому времени уже написано 22 главы нового романа, свыше 400 страниц! Наконец, 30 марта 1915 года книга завершена. Ряпасов посылает рукопись в Петроград, Стасюлевичу, не зная, что издательство уже закрылось. А вскоре и сам Стасюлевич умер. В итоге рукопись затерялась. Не надо говорить, как переживал потерю автор... Тем временем, долгие месяцы он тщетно ищет работу газетчика. В конце концов решает вернуться в Пермь...

Эти годы, с 1914 по 1917, несмотря на житейские передраги, были наиболее плодотворными в творческой жизни писателя. Созданы романы «Наследство Блома» и «Пираты XX века», являющиеся продол-

жением «Неведомого города», написано полтора десятка рассказов, которые публиковались не только в газетах, но и в «Журнале для всех», в «Мире приключений». Историко-географические очерки Ряпасова стал печатать журнал «Природа и люди»...

Мировая война заразила и Ряпасова ура-патриотическими настроениями. В те же «Пермских губернских ведомостях» он печатает антигерманские статьи. Продолжает вести в этой газете свои «Наброски» — фельетоны, посвященные городским безобразиям, а в конце 1916-го начинает публиковать в ней свой роман «Пираты XX века», завершающий трилогию. Роман печатался вплоть до 2 марта 1917 года. Было напечатано 14 глав. Февральская революция и поток информации со всех концов страны, возросший во много раз, вытеснили «Пиратов XX века» со страниц «Пермских ведомостей».

Роман рисует жизнь героев «Неведомого города» в годы мировой войны. Авиатор Медведев, путешествуя по Атлантике на яхте, принадлежащей Рубергу, спасает молодого человека, Шиманского. Тот рассказывает, что корабль, на котором он плыл, был потоплен неизвестным пиратским судном. Владелец яхты хочет пуститься в погоню за рейдером, но известие, что Германия объявила войну России, заставляет вернуть судно к берегам Франции. Медведев и Шиманский вступают волонтерами во французскую армию, а доктор Руберг остается в Париже ожидать вестей от Березина из Петрограда. Медведев с Шиманским на самолете «Чайка» летят в Россию. В пути их ждут самые невероятные приключения...

Приходят известия от Березина. Оказывается, его сына Георга и жену Кэт похитила германская секретная служба, требуя в обмен на них раскрыть секрет радиотита — радиоактивного вещества, лучами которого можно уничтожить миллионы людей... Березин прибывает в Париж. Друзья обсуждают сложившееся положение. Можно было бы с помощью чудо-лучей превратить Германию в море пепла. Но ведь погибнут невинные, да и Кэт с Георгом так не освободить... И друзья решают захватить в плен самого кайзера Вильгельма, чтобы обменять его на Кэт и Георга. На гигантском самолете «Мистер Блом» они пересекают линию фронта, нападают на ставку кайзера, захватывают его...

Увы, окончание романа нам неизвестно.

Летом 1917 года И. Ряпасов уехал во Владикавказ редактировать газету. И пропал на много лет. Напрасно после завершения гражданской войны разыскивали его брат Павел и сестра Ольга, решившие в конце концов, что Иван Григорьевич погиб... Но он был еще жив.

Октябрьская революция застала его в Ставрополе, где он работал в Городской управе. После взятия города красными служил в совнархозе, затем секретарем полиграфического отделения — и, заболев желтухой, вынужден был оставить службу. Но это был уже не прежний Иван Григорьевич...

В 1918 году произошло в жизни Ряпасова событие, потрясшее его до глубины души.

Возвращаясь поездом из служебной командировки в Армавир, Иван Григорьевич вместе с другими пассажирами был схвачен матросами из отряда анархиста Медведева. Скоропалительный «трибунал» приговорил всех их к расстрелу — как «шпионов Керенского». Потрясенный происходящим, Ряпасов уверовал, что это — наказание ему за стародавние прегрешения, и всю ночь перед расстрелом каялся Николаю Чудотворцу... А утром, когда осужденных повели на расстрел, произошло подлинное чудо. У же возле места казни конвой встретил коменданта города, который отпустил всех арестованных домой.

С того дня Ряпасов стал другим человеком. Глубоко верующим. И ничего не боящимся. Люди, встречавшиеся с ним впоследствии, навсегда запоминали его одухотворенное лицо, проникновенные глаза на этом бледном лице — с лихорадочным блеском, с расширенными зрачками. Он превратился в религиозного аскета... Потеряв в годы гражданской войны жену, Ряпасов до конца своих дней остается одиноким. Теперь его преимущественно интересуют книги духовного содержания, всевозможные таинственные мистические явления.

Новые настроения отнюдь не способствовали служебным успехам Ивана Григорьевича. В 1921-1922 гг. он работает секретарем ставропольской газеты «Власть Советов», пишет статьи на хозяйственные темы, рецензии, фельетоны. Но в ноябре 1922-го Ряпасову пришлось уйти из газеты. Многие его статьи были «не в дугу», например, о колоколах (после того, как было выдвинуто предложение продать российские колокола американцам на медь)...

В 1923 году И. Ряпасов работает над историко-географической хрестоматией Северного Кавказа. Она была одобрена Госиздатом, но так и не увидела свет.

Между тем, странствия продолжались и в 20-е, и в 30-е годы. И. Ряпасов служит хранителем архива, заведует книжным отделом магазина, потом, помыкавшись без работы, — вынужден был уйти, так как не являлся членом профсоюза, — устраивается корреспондентом ростовской газеты «Голос Юга». В 1932-1933 годах он — секретарь редакции одной из районных газет Ставрополя. Здесь Иван Григорьевич припомнил свои былые увлечения геологией — открыл месторождение цементного сырья высокого качества, подал заявку и на месторождение нефти...

В 1936 году И. Ряпасов вновь вернулся в Ставрополь, преподавал на курсах географии, историю, русский язык. Учительствовал и в средней школе. Продолжал писать статьи историко-географического характера. Последняя из них была напечатана в 1941 году. В ней он рассказал о развалинах древнехазарского города Маджары на Куме.

Осенью 1941 года, копая окопы на подступах к Ставрополю, Ряпасов простыл: воспаление легких. Болезнь тянулась долго, и, когда к городу подошли немцы, эва-

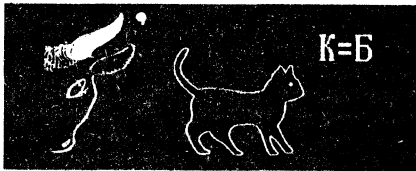
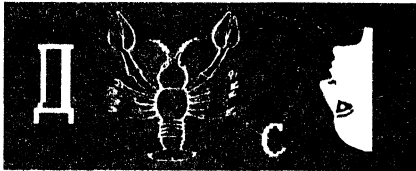
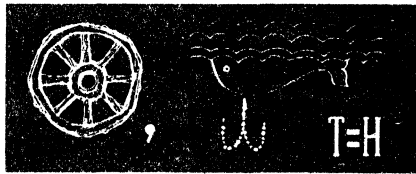
куироваться не смог. А может, и не очень стремился. После 1918 года у него атрофировалось чувство страха: во время бомбежек, арналетов спокойно ходил по городу, среди рушащихся стен и горящих зданий.

Фашисты мобилизовали Ряпасова на земляные работы, угнали на Украину, потом в Польшу, Чехию, Австрию...

В 1945 году после освобождения он вернулся на родину. Но за «сотрудничество с врагом» в 1949-м был арестован и осужден на 25 лет. Это был уже иссохший согбенный человек с рыжеватой бородкой клинышком. В толпе эзков он выделялся необыкновенно одухотворенным лицом.

Наступил 1954 год. Актюбинский суд освободил Ряпасова. Ему удалось выхлопотать себе место в доме инвалидов, в Черкасской области. Здоровье было подорвано окончательно. Последние месяцы Ряпасов почти не вставал с постели, испытывая страшные муки. В эти дни его отыскивали родные — брат Павел и сестра Ольга, краевед А. Шварц. Однако увидеть родных ему не пришлось. 3 сентября 1955 года Ивана Григорьевича Ряпасова не стало. Не стало талантливого, доброго, чистого души человека, которому обстоятельства не дали раскрыться до конца. А сколько бы мог сделать этот литератор-самородок, так мечтавший стать «русским Жюль Верном»...

ПЕРСОНАЖИ ФАНТАСТИКИ



ПРОВЕРЬТЕ ВАШУ ПАМЯТЬ

Ответ на кроссворд по произведениям А. и Б. Стругацких (№ 3, 1993)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Голован (Жук в муравейнике).
3. Демиург (Отягощенные злом...).
6. Гиперпросачивание (Далекая Радуга).
8. МУКС (Стажеры).
10. Бункин (Хищные вещи века).
12. «Зигзаг» (Град обреченный).
15. Игла (Возращение).
17. Аутсайдер (Далекая Радуга).
19. Ботадеус (Отягощенные злом...).
21. Пикбридж (Далекая Радуга).
23. Соан (Трудно быть богом).
24. «Охотник» (Попытка к бегству).
25. Сурд (Далекая Радуга).
26. ИЗРАН (За миллиард лет...).
27. Йемен (Град обреченный).
28. Лапа (Хищные вещи века).
30. Ричмонд (Попытка к бегству).
31. Луна (Парень из преисподней).
35. Каммерер (Волны гасят ветер).
36. Амальтея (Путь на Амальтею).
39. Ревертаза (За миллиард лет...).
40. Фляг (Хищные вещи века).
41. Субакс (Волны гасят ветер).
42. Кваздо (Хищные вещи века).
43. Стек (Парень из преисподней).
47. «Структуральнойший» (Попытка к бегству).
48. Раххаль (Отягощенные злом...).
49. Метагом (Волны гасят ветер).

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Голем (Понедельник начинается в субботу).
2. Вага (Трудно быть богом).
4. Марс (Волны гасят ветер).
5. Гидра (Понедельник...).
7. Саракш (Жук в муравейнике).
9. Ксенопсихология (Малыш).
10. Биоблокада (Волны гасят ветер).
11. КОПРОПО (Пикник на обочине).
13. Глайдер (Попытка к бегству).
14. Горн (Жук в муравейнике).
16. Гравиконцентр (Пикник на обочине).
17. «Апиды» (Извне).
18. Рабби (Отягощенные злом...).
20. Скорчер (Попытка к бегству).
21. Пандора (Там же).
22. Псевдохомо (Парень из преисподней).
29. Ямакава (Далекая Радуга).
32. Неядка (Отягощенные злом...).
33. «Кешер» (Там же).
34. Флора (Там же).
37. «Хиус» (Стажеры).
38. «Европа» (Хищные вещи века).
40. Фонор (Там же).
44. Калям (За миллиард лет...).
45. Тьма (Жук в муравейнике).
46. Брут (Понедельник...).

СЛОВО ОБ ОТЦЕ

Передо мной три фотографии отца... С трудом угадывается, что на них изображен один и тот же человек. Первый снимок сделан за месяц до ареста в Москве, — здесь отцу 35 лет. Второй — в лагере, через 10 лет. Последний снимок на воле...

Когда его в страшном 37-м забирали люди в штатской одежде, прикрывавшей форму НКВД, он весил около 90 килограммов. Крупный, физически сильный, тренированный мужчина. Увлекался спортом, бегал кроссы, не раз переплывал «матушку-Волгу» близ Самары и Саратова.

А когда он умирал 10 января 1947 года в лазарете Средне-Бельского ИТЛ от паллагры и туберкулеза, приобретенного в лагерях Колымы и Магадана, он весил всего 36 килограммов!..

Мой отец Вильгельм Александрович Вогау, родился 20 ноября 1901 года на Волге. 17-летним юношей добровольцем ушел в Красную Армию, там через год, в 1919 году, вступил в партию, всю Гражданскую провоевал, по окончании ее был партийным работником и журналистом, тесно сотрудничал с Постышевым и Орджоникидзе, Косиором и Чубарем — т.е. был из той когорты, что на своих плечах вынесла становление советской власти, а позже была уничтожена...

С 1934 года отец стал работать в Редакции «Истории фабрик и заводов». С этого времени жизнь его и творчество были тесно связаны с Уралом. Он писал историю старейшего на Урале Верхисетского завода. Книга была написана не как исторический трактат, а в форме романа, легко читаемого. В 1935 году ее подписали к печати. Но, к сожалению, света она не увидела в связи с арестом отца. Рукопись попала в архив. Только после реабилитации отца — посмертной, рукопись по суду была мне возвращена, а второй экземпляр хранится в Государственном Архиве Октябрьской Революции в Москве.

Некоторые из глав печатались в журнале «Уральский следопыт» 1935 года. Отец активно в нем сотрудничал.

Сразу по окончании рукописи о ВИЗе он начал писать историю старейшего демидовского завода в городе Невьянске. Он собирал легенды и были, фотографировал архивные документы, сохранившиеся в музеях реликвии, срисовывал планы цехов и заводского оборудования. Работал ночами и часто свет до утра горел в его кабинете. Невольно приходит мысль, что он, видя творившиеся вокруг, и чувствуя, что его не минует участь многих других, торопился закончить этот труд.

При обыске рукопись «История Невьянского завода» была изъята и бесследно пропала.

В ту пору жизнь отца делилась между Москвой и Свердловском, а потому сохранились письма того периода. Выдержкой из одного письма я хочу поделиться. В нем открывается человек, его характер, манера работы, окружение...

«Я уже третьи сутки в Невьянске. Встретили хорошо — в номере нет отбою от посетителей. Здесь все смотрят на меня, как на какого-то «великого человека», и мне это не нравится — тяготит. Завтра на редколлегии состоится мой доклад о состоянии работы над историей завода. Послезавтра — редакция газеты устраивает мой литературный вечер — с читкой глав, ужином и прочим... Я же собираю вокруг себя местную пишущую братию. Про одного — Кузьмина, у которого уже три вещи печатаются в Свердловске, я тебе писал. Он продолжает писать дальше. Глухонемой — Буров оказался тоже талантливым мальчиком. Я дал ему ряд советов и указаний, попросил подработать, доделать стихи и выслать мне в Москву, думаю, что мне удастся протолкнуть их в печать. Еще — художника одного молодого попытаюсь вытащить на жизненную дорогу. Плохо, что все эти ребята, у которых проявляется несомненный природный талант, здесь брошены на произвол судьбы. Никто им не помогает, а Свердловский союз писателей не интересуется работой и воспитанием молодых с ил...»

Местная газета напечатала отрывки из моего «18-го года». Редактор назвал меня «чудаком» за то, что отказался от гонорара. Обещал напечатать остальное — с обязательной оплатой. Гонорар у них маленький, газета бедная — и мне неудобно...»

Отец до конца жизни оставался писателем. Последний год «там» был особенно плодотворным. Он написал «Повесть о чистой любви» — на основе корейского фольклора, «Листки дневника» — мемуары лагерной жизни, повесть о современной жизни, и еще — письма «Оттуда» за 9 лет — это произведения о себе, человеке в невероятно тяжелых лагерных условиях оставшемся Человеком.

Все это я сейчас перебираю, редактирую, комментирую. Очень хочется, чтобы труды отца увидели свет. Считаю это своим долгом перед светлой его памятью.

Буду благодарен за отклики каждому, кто быть может знал моего отца, читал или сохранил его книги.

Повесть «Андрей Лоцманов...» — первая из этих публикаций.

г.Ижевск.

*Гарольд ВОГАУ, режиссер,
член Союза театральных деятелей.*

Вильгельм ВОГАУ

Андрей Лоцманов, или Свободы сеятель пустынный...

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Уже несколько дней в доме Лоцмановых все шло вверх дном — старики снаряжали сноху и внука в дальнюю дорогу. Коршунобразный дед Зиновий с широкой седой бородой сотый раз напоминал снохе об отпускном билете:

— Смотри, дура, забудешь, — схватят и, как беглых, вернут!

Настал день отъезда. Шестилетнего Андрея плотно закутали в овчинный тулупчик и посадили в кошеву. Рядом села мать. Дед Зиновий перекрестил их, сказал сурово:

— С богом!

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас, — всхлипнув, прошептала мать, тесно прижав Андрея...



Ямщик тронул лошадей. Пристяжные, склонив набок головы, рванули постромки. Запели бубенцы, зазвенел колокольчик под дугой коренника...

Проехали плотину. Слева необозримой снежной пустыней раскинулся заводской пруд. Справа — в глубокой расщелине — стоял завод. В его почерневших от времени и копоти амбарах, метались красные отблески огня. Лениво крутились водяные колеса, приводя в движение молоты и воздуходувные меха. Сыпали искрами и пеплом огнедышащие доменные печи.

А затем, миновав окраинные землянки, в

которых жили еще не успевшие отстроиться новокупленные мастеровые, — въехали в лес.

Весна 1813 года брала свое. Ласковое солнце высекало искры на медных бляхах конской упряжи, отражалось в навозных лужах и потемневших снежных сугробах по краям дороги. За Кунгуром кончился санный путь, пришлось пересест в фазтон.

Дорога живо интересовала Андрея: сменяющиеся виды холмов и оврагов, набухающие водой реки и ручьи, черные дремучие леса, поселения и деревушки — все привлекало его внимание. Мальчик, забрызганный грязью, нетерпеливо крутил-ся и ерзал на сидении.

— Мамка, а мамка, а скоро Москва?

— Что ты, Андрюша, дорога неблизкая. Дай бог за пару недель добраться. Наберись терпения, родной.

Легко сказать: наберись терпения. А где его взять, когда так хочется поскорее увидеть Первопрестольную. И еще: там отец. Андрей его редко видел. Василий Зиновьевич служил караванным приказчиком и непрерывно находился в дороге, сопровождая водные караваны с заводскими изделиями от Урала до Москвы и Нижнего Новгорода. Теперь же, после изгнания французов, хозяин — Алексей Иванович Яковлев-Собакин — посадил его управлять московской конторой по сбыту железа верхисетских заводов.

Более двух недель скакали тройки.

И вот Москва... Нет, не такой представлялась мальчику Белокаменная. Грязь, лужи, пожарища... Из-под обугленных балок простирались к небу закопченные трубы печей... Пепелища усеивали трупы лошадей с выпирающими из кожи ребрами и костяцами. В болотах под зубчатыми стенами Кремля завязали полуманья коляски, телеги. Среди обгорелых развалин бродили хмурые в лохмотьях люди, копались в родных пепелищах...

Василий Зиновьевич Лоцманов быстро и надежно врос в торговый и деловой мир Москвы; имел доступ к самому губернатору и, кроме того, верховодил среди московских старообрядцев, крепко поддерживавших друг друга.

В 1815 году его вызвали в Петербург. Вернулся домой радостный и, поглаживая на груди медаль, не без гордости сказал матери:

— Государь император собственноручно пожаловал за усердное попечение о снабжении Москвы железом. Барин наш Алексей Иванович в благодарность прибавил жалования! Решил я Андрюшку нашего в учение отдать.

С той поры на дом к Лоцмановым каждодневно стал заходить, живший по соседству, губернаторский секретарь Корнеев, которого и наняли обучать Андрея Закону Божьему, арифметике, русской грамматике, чистописанию, а еще — музыке и французскому языку. Ученик оказался на редкость смышленным.

Андрей обычно вставал с рассветом, быстро готовил уроки. А затем по тихому переулку бежал на площадь против дома военного губернатора. Тут ежедневно проходили учения солдат и развод караулов. На площади собирался народ поглазеть на войска, овеянные громкой славой Бородина, Березины и Лейпцига.

Впечатлительного Андрея пленяла боевая слава победоносной армии. Нравилась ему стройность движения, блеск киверов, погони нашивок. Восхищали командиры, которые запрокинув головы зычно подавали команды и войска, вздрагивая, каменели ровными рядами. Являлся генерал в треугольной шляпе и с густыми золотыми эполетами:

— Здорово, орлы!

И площадь единым дыханием откликалась на приветствие.

Вдруг, обходя строй, подрагивая на ходу, обгнанными в белые лосины ляжками, генерал неожиданно гаркал:

— Ка-ак стоишь, дубина! Командира ко мне!

Подбежал офицер, придерживая рукой саблю, и застыл перед начальством, приложив два пальца к козырьку. У генерала тряслись бакенбарды.

— Брюхатая баба, а не солдат... Что? На три дня во внеочередной караул его, мерзавца!..

А когда пустела площадь, Андрей со всех ног мчался домой, собирал соседских мальчишек-однолеток и малышню и повторял с ними военные упражнения. Сам всегда выполнял роль генерала.

Родителям же заявил, что непременно хочет быть и будет офицером. На что отец лишь печально улыбнулся:

— Эх, Андрюшка, офицерство-то пока не про нас. Это только для благородных, а мы с тобой крепостные и не вольны в своей жизни.

Отец пользовался покровительством графини Екатерины Ивановны Шереметевой, родной сестры хозяина завода, в девичестве Яковлевой-Собакиной. Из признательности к Василию Зиновьевичу она взялась обучать Андрея рисованию.

Когда Андрей появился в доме Шереметевой, предметом ее увлечений был отставной инженерный офицер фон Галлер, готовивший стать пастором. Это был человек не чуждый просветительских идей, начитанный и мыслящий. Он учил графских дочерей. Ему Екатерина Ивановна поручила обучение рисованию также и Андрея. Фон Галлер, чуждый сословных предрассудков, скоро полюбил своего ученика за недюжинные способности и пылкий ум. Андрей же души не чаял в своем педагоге и жадно внимал каждому его слову.

В 1818 году двенадцатилетнего Андрея, по-прежнему горевшего желанием посвятить себя военной службе, отдали сперва в пансион Терликова, а через два года — в пансион Галушки. Мечта приобретала реальное очертание, ведь наряду с историей, географией и немецким языком он теперь изучал и серьезные военные науки: фортификацию, артиллерию, фехтование и черчение планов.

В пансион попасть было нелегко. Крепостных и вовсе не принимали. Но Василий Зиновьевич опять прибегнул к покровительству графини Шереметевой. Та и сама была весьма благосклонна к Андрею. Она заверила содержателя пансиона, что Лоцманов

— купец, имеет мед аль от царя, и Андрей сошел за купеческого сына.

Галлер игриво похлопывал его по плечу:

— Куражьтесь, мой друг! Фортуна — капризная девица: сегодня она не очень на вас посмотрела, а завтра, глядишь, улыбнется!

А тут случилась болезнь, потом осложнение. Чтобы Андрей не отставал в учебе, отец записал его в библиотеку. И Андрей, получив доступ к книгам, быстро пристрастился к чтению. Зачитывался романами Вальтера Скотта и Шписа, кумиров читающей публики. Исторические романы познакомили с Ликургом, Аристидом, Ганнибалом — великими мужами Древнего мира и продолжили дорогу к Вольтеру, Гельвецию. Широко открылся новый мир. Андрей жадно поглощал софизмы вольнолюбивых мыслителей, почерпнул из их учения великие идеи Свободы, Равенства и Братства.

Взахлеб читал сочинение аббата Баррюэля «Записки о якобинцах, открывающие все противохристианские злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все Европейские державы». Из этой книги Андрей узнал о существовании тайных обществ, борющихся против недостатков общественного устройства. Книга, против воли автора, стала как бы и учебником конспирации.

Еще в двадцатые годы, в связи с отменой торговли неграми во Франции, Испании и Португалии, в России усилились слухи об освобождении крепостных. Народ, поработенный не меньше негров, ожидал царской милости. По стране перекатывалось волнующее слово «воля».

Однажды Василий Зиновьевич в присутствии сына заговорил об этом с матерью.

— Рассказывают, что господин Мордвинов склоняет царя дать народу волю.

Андрей тут же спросил его:

— А кто такой Мордвинов?

— Мордвинов — зять Алексея Ивановича...

— Нет, я спрашиваю, каков чин его? — уточнил Андрей.

— Чин у него большой, кажись вице-адмиральский. Впрочем, господин Мордвинов не столь чином именит, а тем, что в числе патриотов он — известнейший. Да и царь к мнению его прислушивается, — пояснил отец.

Имя Мордвинова запало в памяти. Отец же продолжал:

— Я полагаю, Андрюшка, нам недолго ждать увольнения из крепостного состояния. В прошлом месяце барин дал волюную своему поверенному на заводах Григорию Федотовичу Зотову. Если считать это наградой за усердие и верность, то мы — Лоцмановы — подавно ее заслужили.

В голове у Андрея смутно бродила романтическая мысль о создании тайного общества для распространения в народе идей Свободы, Равенства и Братства. Он мысленно искал единомышленников, присматривался к сверстникам по пансиону: кто из них способен разделить с ним вольнолюбивые помыслы и желания?

Одни были слишком легкомысленны и болтливы, годились только для игр и забав, другие не могли воспринять его взгляды, ибо сами были «рабовладельцами».

Больше других вызывал доверие Алексей Соколовский — побочный сын мелкопоместного дворянина Алексея Пашкова из Тамбовской губернии. Он жил с матерью и братом по соседству — в Арбатской части. Это был прямодушный и преданный товарищ детских игр, пылкий мечтатель, тоже готовившийся к военной карьере. Ему-то Андрей и открыл свои намерения.

Они уговорились создать тайное общество «ревнителей свободы» — для распространения в народе идей просветительства. Из этого общества, по их идее, должен вырасти «новый Демосфен»

— трибун и вождь подневольного народа. Это были восторженно-романтические мечтания молодых «заговорщиков».

Нашли тайный шифр для переписки, сочинили тексты клятв членов общества и стали искать сообщников среди учащихся. Излишняя доверчивость вскоре закрепила за ними кличку вольнодумцев», и содержатель пансиона Галушка, не долго думая, исключил обоих из своего заведения — «за вольность мыслей, неприличную молодым людям»

А тут и другое горе обрушилось на голову Андрея.

Осенью 1822 года слегла мать, усилились припадки тяжелой болезни и у отца. Забота о доме легла на плечи Андрея. Лекарь объявил, что мать долго не проживет.

Маленькая, вечно хворающая женщина была душой дома. Это она первая водила пальцем сына по букварю. Ее доброта обезоруживала свирепого деда Зиновия. Она безропотно терпела его упреки и ворчню. Никогда не жаловалась и молча переносила невзгоды, вела затворническую жизнь в семье и для семьи.

И вот теперь она лежала с ввалившимися глазами и заострившимся носом, укрытая до подбородка одеялом, и молила бога о счастье для своего единственного и горячо любимого сына.

Весной 1823-го ее не стало... Быстро угасал и отец.

Ведя хозяйство и дела по дому в конторе, Андрей убедился, что отец его был добрым и отзывчивым человеком не только в семье. Он не сек подневольных ему людей, не кормил их тухлятиной, как это делали другие приказчики. Случалось даже, что петербургская контора заводоуправления делала ему начеты и выговора за лишние расходы на питание работников.

В лавке и господском лабазе Андреем вплотную соприкоснулся с жизнью. Он увидел нищету, забитость и унижение людей. Дохла на него и ненависть подневольного люда к барам.

Андрей мучился и был в отчаянии. Он жаждал дел достойных величия Брута, самоотверженности Демосфена, твердости Муция Сцевола. Он мечтал зажечь в народе неугасимое пламя свободы. В душе теснились романтические мечты и неясные образы — просились наружу. Андрей написал повесть о рабовладельцах и мальчишке негрятенке Иорике, который посвятил себя освобождению несчастных соплеменников. Назвал ее «Негр, или возвращенная свобода». Повесть в известной степени автобиографична: негрятенок Иорик напоминает нам самого автора. В отце его — трудолюбивом и отзывчивом — трудно не узнать Василия Зиновьевича, а наставник Андрея Галлер выступает под именем пастора Россера. Андрей нашел слова, бичующие «бесчестный и по срамляющий человечество торг подобными себе существами».

Закончить и литературно обработать повесть автору не удалось.

В августе 1823 года умер Василий Зиновьевич. На смертном одре, в короткие промежутки, когда его не покидало сознание, он посвящал сына в хозяйственные и денежные дела, особо же завещал:

— Обязательно напиши барину Алексею Ивановичу, а лучше поезжай, пади ему в ноги и проси себе волюную. Скажи, что я Христом богом молю его устроить твоё счастье — за мою преданную службу!

Похоронив отца, Андрей написал барину просьбу о волюной. Ждать пришлось недолго. Новый приказчик, от имени Алексея Ивановича, приказал Андрею «оставить глупые мысли» и немедленно ехать в Верх-Исетск для отправления заводской работы.

Андрей бросился к Галлеру:

— Я не поеду в Сибирь, — говорил он другу, мечась по комнате, — почему должен я оставить город, где учился и вырос, где друзья мои и близкие сердцу люди?

— Мужайтесь, мой друг, — успокаивал Галлер, — надейтесь и ждите. Я упрошу графиню заступиться.

В тот вечер Галлер рассказал все графине. Утирая слезы, она воскликнула:

— Боже мой, боже мой! Какое несчастье! Бедный мальчик! — а затем, немного успокоившись, добавила: — Но тут я абсолютно бессильна помочь. Алекс из упрямства поступит мне наперекор.

Однако почему же Андрей не хочет ехать на Урал? Там, говорят, совсем неплохо, сказочные места: горы, леса, реки. Как бы я хотела... — и Екатерина Ивановна легко перешла на идиллическую, пасторальную тему.

Доведенный до отчаяния, Андрей решил подать прошение царю. Когда через неделю он пришел за ответом, ему объявили, что прошение утеряно. Кругом не везло...

Собрав вещи, получив по заемным письмам деньги, оставшиеся после отца, Андрей собрался в дорогу. Прощаясь с Алексеем Соколовским, поклялся, что на новом месте всецело посвятит себя служению свободе и подыщет на Урале единомышленников. Друзья обещали не прерывать связь друг с другом...

Ехали сквозь дождливую, хмурую осень.

Колеса вязли в размытых, непроезжих колеях; ящики нещадно стегали взмыленных коней: те, хрипя и натягивая постромки, тянули фаэтоны. Дорога, однообразная и скучная, казалась бесконечной. И на душе, под стать непогоде, было тоскливо, пасмурно и одиноко.

С дедом Зиновием отношения сразу не заладились и окончательно испортились, когда Андрей спросил его:

— Ты, дед, никогда не добивался вольной?

— Брось, Андрюшка, — сурово сдвинул брови, прикрикнул дед. — За такие слова на заводской конюшне поёрют. Смотри, паря, как бы тебе туда не попасть!

В Перми, меняя лошадей, ненадолго остановились в доме, где жил поверенный завода при губернских властях Дмитрий Махотин. Тут Андрей познакомился с его братом — Петром Пахотиным, своим одногодком, служившим писцом у брата. Впоследствии он сыграл роковую роль в жизни Андрея.

Верхисетское заводское начальство, не без влияния деда Зиновия, встретило Андрея неприязненно. «Барчук... В церковь не ходит, с иноземцами знается...» Назначили учителем заводской школы и по совместительству писцом в правлении округа.

Дед Зиновий с самого приезда стал следить за каждым его шагом, ворчал и бранил за чтение светских книг, вольные разговоры, дружбу с иноземцами.

Андрей чувствовал себя одиноким и чужим в этом мире.

Имея доступ к архиву он многое узнал о каторжном положении работного люда на уральском заводе.

Особо тяжелыми стали условия, когда завод перешел во владение петербургского купца, разбогатевшего на беззастенчивом грабительстве и винных откупах — Савве Яковлеву-Собакину и его наследникам. Они передали завод в управление своим поверенным, из которых самым лютым был Григорий Зотов, уже знакомый Андрею по рассказам.

Зимой 1824 года к Андрею пришел Петр Махотин, приехавший по делам из Перми. Андрей искренне обрадовался: наконец, можно было с кем-то поговорить, облегчить душу. Флегматичный Махотин умел внимательно слушать, сочувствовать горю друга, и Андрей встречаясь с ним, говорил о своих сомнениях.

— Не понимаю, — рассуждал он, возбужденно шагая по комнате, — откуда у русского мужика берется великое смирение и покорность. Я не знаю, сколь глубоко несчастен он в своей темноте, неволе и никто не протянет ему руку помощи. В других странах народ, предводительствуемый великими людьми, вставал и уничтожал тиранов: Кассий и Брут убили Цезаря, афиняне свергли иго олигархов, а Демосфен вошел в историю великим патриотом...

Простоватый Махотин был ошеломлен красноречием друга:

— Не связаны ли вы с фармазонами? — полюбопытствовал он.

— Почему вы так думаете?

— Я уже давно, признаться, подозреваю... В церковь вы не ходите, держитесь всегда обособленно, да и тайный смысл читается в ваших словах.

— О нет, ошибаетесь, — рассмеялся Андрей, — я по молодости не могу к ним принадлежать. Массонские ложи — это пустяк. Вот, говорят, существуют тайные общества, которые пекутся о благе народном...

Это еще больше заинтересовало Махотина. Он настойчивее продолжал расспросы. Андрей отвечал полупауками. Он решил привлечь своего нового друга в мифическое тайное общество. Но как? Открыть ему свои связи с Алексеем Соколовским запрещали правила конспирации, почерпнутые из «Записок якобинца». Однако хотелось ошеломить Махотина каким-то громким титулом и именем, чтобы возбудить его интерес к тайному обществу. Сочинить хоть какое-то доказательство его наличия.

И тут вспомнилось имя адмирала Мордвинова, слышанное от отца. Андрей принялся сочинять письмо на имя некоего президента тайного общества.

В апреле 1824 года, когда Махотин вновь приехал в Верх-Исетск, Андрей, удостоверившись, что их никто не подслушивает, с таинственным видом извлек из-под кучи бумаг на столе обрезной полулист и прочел вслух: «Высокопочтеннейшему Президенту Тайного общества а Ревнителю Свободы, Вице-Адмиралу и Магистру 4-х степеней и 500 Советов Мордвинову.

ОТНОШЕНИЕ

Действительного Члена и Представителя 2-й степени и Агента Уральских окрестностей Ази-Гезга.

Исполняя валю Вашу, Великий Магистр, и Пятисотного Совета, обстоятельно доносим о предметах, касающихся до меня, ровно и спешу известить благородное собрание сподвижников свободы о выполнении его благих намерений.

Слава Магистру! Слава представителям четырех степеней!! Слава и вам, сподвижники Свободы!

Семена свободы сеются на хребтах Урала, и бесплодные скалы стараниями вашими превращаются в плодородные нивы, представляющие приятное зрелище, для сеятелей. Свобода — враждебное чувство человека — и здесь распространяет ветви свои, под сенью коих после трудов ратных спокойно отдохнут сыны ее. Свобода, повторяю я, присоединила в число сподвижников своих, кроме уже известных Вам, Великий Магистр, еще несколько человек, кои стараниями моими возненавидели династию, властвующую ныне над потомками древних славян, столько же, сколько питают усердие к новому монарху — Свободе, и смертная клятва во имя Трикраты-трех произнесена новыми ревнителями. Объяснения о положении их, состоянии и видах, кои я простираю на них, при сем особо представляю на рассмотрение ваше, Великий Магистр, и представителей Свободы по установленному нами порядку.

Великий Магистр! Представители-агенты и вы, сподвижники Свободы! Уверю вас страшной клятвой о верности моей.

Представитель 2-й степени Ази-Гезга.

В четвертый год Свободы».

Высокопарный слог письма, неслыханные титулы и таинственное содержание ошеломили Махотина.

— Поняли ли вы смысл и цель прочитанного? — спросил Андрей.

— Нет, — потряс головой Махотин, — однако написано очень хорошо. К кому это относится?

— Кто писал, тот знает! — таинственно усмехнулся Андрей. И довольный произведенным эффектом, засунул бумагу на старое место, вышел в другую комнату. Махотин быстро подошел к столу, извлек золотообрезной полулист и положил его к себе в карман...

Через несколько дней он объявил, что его отправляют с кара-

важом на Макарьевскую ярмарку, а на вопрос Андрея: «Зачем он взял со стола бумагу», виновато улыбаясь, отвечал:

— Не сердись. Письмо мне очень понравилось — написано таким красивым стилем, хочу себе на память снять копию. Вечером занесу.

Махотин уехал, не заходя к Андрею, увез не только письмо, но и взятую ранее подозрительную трубу. Андрей объяснил себе поступок Махотина спешкой; он не мог заподозрить умышленного обмана.

Время показало, как он ошибался.

Жизнь не улыбалась Андрею. Навсегда отложил он неоконченную повесть; чтение тоже пришлось оставить — книг в поселке не было. Завел знакомство в Екатеринбурге с иностранцами и чиновниками, ездил часто в город, приглашал к себе. Отцовское наследство таяло, появились долги. Доверившись одному иностранцу, пытался было открыть галантерейную лавку, но был обманут и разорился.

И тогда управляющий Егор Китаев посоветовал деду Зиновью:

— Женить его надо, непутевого!

— Верно, — согласился тот, — женится — оступенится!

Быстро нашли невесту — дочь приказчика Режевского завода Надежду Козлову. Невеста была еще совсем девочка — неопытная, запугана и неграмотна.

После свадьбы перевели Андрея в совершеннейшее захолустье — под надзор тестя на Режевской железодобывательный завод.

— Держи его на глазах и не давай воли, — напутствовали Козлова Китаев и дед Зиновий.

Это походило на ссылку: порвались привычные связи, невозможны стали поездки в Екатеринбург, известия извне с большим опозданием доходили до завода.

И все же к концу зимы докатились слухи о декабрьских событиях 1825 года на Сенатской площади. Выстрелы картечью, виселица для пятерых и ссылка остальным. Многие по каторжному тракту гнали через Екатеринбург.

Андреем овладело беспокойство: письмо, взятое Махотиным, могло стать причиной большого несчастья! Надо было во что бы то ни стало вернуть его, уничтожить. Помчался в Верх-Исетск, стал требовать письмо у Махотина. Махотин сказал, что потерял его.

Вскоре Андрея как «остепенившегося» вернули в Верх-Исетск.

Кажется, жизнь начала налаживаться, но тут случилось непоправимое...

4 мая 1827 года управляющий Егор Китаев переслал исправнику Курову письмо на золотообразном полулиста. «Писано рукой конторского служителя Андрея Лоцманова», — сообщалось в сопроводительной записке.

Прочитав письмо, исправник некоторое время был словно в столбняке, в глазах рябило от страшных слов: «тайное общество», «семена свободы», «возненавидели династию»...

Послав казака за Лоцмановым, исправник решил прежде поговорить с Китаевым.

— Это означает злоумышленную цель, — трудно разматывал он клубок своих предположений. — Да-с! Злоумышленную цель, посеваемую, как сказано, на хребтах Урала, против особы его императорского величества. Дерево-то в Петербурге срубили, а корешки-то, видать, остались. И в нашем округе ведь!

— Лоцманов! Кто бы подумал? — в свою очередь сокрушался Китаев. — Сын почтенного родителя! Махотин — брат господского поверенного! Письмо-то у него хранилось, он его и представил.

В тот же вечер исправник стал допрашивать Андрея.

— Сколько вам лет?

— Двадцать один.

— Грамоте учен?

— По-русски и по-французски...

— У исповеди и святого причастия бываете? Когда в последний раз?

— Бывал. Последний раз два года тому назад.

— Давненько, давненько, молодой человек! Из государственных или крепостных? Бывали ли под судом или в наказаниях?

— Крепостной господин Яковлева... Под судом не был. — Андрей держался настороже и отвечал скупно, но учтиво.

Исправник извлек из стола злополучное письмо.

— Это вы писали?

— Нет, я не писал, — отрекся Андрей. Теперь он понял причину ареста.

— Вам незачем запирается, молодой человек. Махотин все рассказал. Желаете иметь с ним очную ставку?

— Не нужно, — тихо возразил Андрей, опуская голову.

Исправник запечатлел на бумаге признание Андрея, дал ему подписать. Что делать дальше, — он не знал. Обычные дела решались просто: «Ты украл?» — «Бес попутал, батюшка». — «Всыпьте ему десять лозанов».

С Лоцмановым так легко не кончить. Следовало допрашивать дальше:

— Скажите, кто еще, кроме вас и Махотина... э...

— Вы хотите спросить: существует ли тайное общество и кто в нем состоит? — пришел на помощь Андрей.

— Да, да именно.

— Это писано мною четыре года назад, — учтиво отвечал Андрей. Осенью 1823 года. Это — не письмо, как вы думаете, а так — шутка... Плод досуга и фантазии. Просто я вспомнил Шписа...

— Кто такой Шпис? — перебил его исправник, готовясь записать показание.

— Шпис — немецкий литератор, романист. Живет, должно быть, в Германии, его роман «Рыцари льва» был моим любимым чтением...

Исправник, схватив злополучную бумагу, перегнулся через стол к Андрею и, подчеркивая ногтем слова, выпалил:

— А этот ваш «магистр, господин Мордвинов» тоже в романе действует? «На хребтах Урала» — у немца писано? А «возненавидели династию, властвующую над потомками древних славян» — это тоже немецкий литератор сочинил? Или опять шутка?!

— Когда я писал, мне представлялась родная страна, — вынужден был признать Андрей. — Все остальное, вымысел, игра слов. Из романа Шписа я заимствовал «магистра», «пятисотный совет», — «агента» и прочие подобные наименования. Слово же «свобода» употреблен о здесь единственно потому, что оно, как я слышал, было главной целью масонских лож. Все написанное никому не предназначалось, о чем свидетельствует то обстоятельство, что оно пролежало четыре года у Махотина.

Исправник не стал пускаться в дальнейший спор с подследственным. Он прекратил допрос и в сопровождении двух казаков отправился в дом Лоцмановых, где одну светлицу занимал с молодой женой Андрей.

Казаки шелкали замками, хлопали крышками ларцов и ящиков стола, шарили по сундукам и в постели, за иконами и в подполе.

Тяжело было Андрею смотреть на молодую жену. Она — на последнем месяце беременности. Привалилась плечом к стене и с ужасом взидала на разрушение тихого уюта. Глаза были полны слез — понимала, что их краткому семейному счастью приходит конец.

Исправник унес под мышкой тетрадь с таинственным и потому предосудительным оглавлением: «Негр, или возвращенная свобода» и три записки, взятые под сильное подозрение, как составленные на незнакомом языке...

— Завтра посылаю нарочного в Пермь с донесением — сказал вечером исправник Егору Китаеву. — Дело важное, я не осмели-

ваюся вести по нему следствие самолично. Пусть начальство разбирается.

Андрея оставили под арестом в заводской конторе. Томительные тянулись дни. Пахло сургучом и мышами. За дверью, борясь с дремотой, покашливал и скрипел половицами караульный казак, сторожа «опасного преступника».

Андрей отчетливо представлял себе все последствия злополучного письма, особенно после недавних событий. «Что бы ни случилось, Галлера и Соколовского надо оградить от всяких подозрений. Имена их не должны быть упомянуты. Хорошо, что я не назвал их Махотин у и уничтожил всякие следы переписки».

Как-то днем в соседней комнате послышался знакомый голос. Затем открылась дверь и вошла Надя со свертком в руках. Она устало опустилась на краешек скамьи, выставив тяжелый живот, и молча принялась развязывать узелок. Андрей поймал ее непослушные, дрожащие руки и крепко сжал их. Надя попыталась улыбнуться, но накопившиеся слезы плеснули через край... Андрей, наклонившись к маленькому уху, тихо и ласково сказал:

— Прости...

Счастливая, она подняла на него глаза, высвободила руку и робко погладила его щеку.

— Ешь, простынет. Разрешили передачи носить.

И пока Андрей ел, она торопливо, со всхлипами, шептала:

— Дед сказывал: ты-де злоумышлял против государя, как те в Петербурге. Вы-де с Махотиным заговор учинили, народ взбунтовать хотели. Правда ли это, Андрюша? Дед лютует, «прокляну» — кричит... Ты уж, если что, покаяйся, Андрюша...

Пермский берг-инспектор и главный командир заводов Уральского хребта полковник Осипов взяли сами вести дознание по «возмутительному письму». Прибыв в Верх-Исетск, они заняли кабинет управителя.

Когда ввели Андрея, следователи увидели, что имеют дело с молодым, а стало быть доверчивым человеком, и усвоили по отношению к нему благодушный, покровительственный тон:

Андрей подробно рассказал о своей жизни в Москве, перечислил воспитателей и пансионы, где учился, друзей и знакомых, с которыми встречался, — лишь имена Галлера и Соколовского не были названы.

— Кто сочинял отношение и переписывал. Кому и когда оно отдано?

— Сочинял и переписывал я сам для Петра Махотина.

— Ты здесь пишешь: «Высокопочтенному президенту», скажи: кем, когда и по какому случаю наименован президент? Один ли он был и есть? Или их было несколько? И кто именно?

— Наименование президента я дал сам, ибо если есть общество, то должно быть и президенту.

— Что за «тайное общество ревнителей свободы?» Где и когда оно учреждено и кем? Какова цель его, — перекрестно допрашивал полковник.

— Общество существовало лишь в моем воображении. Я вымыслил его, чтобы удовлетворить любопытство Махотина, — терпеливо разъяснил Андрей.

— А что такое есть «500 совет»? — вопрошал берг-инспектор.

— О подобных советах, равно как и о прочих титулах, как-то: «степени», «представители», «агенты» — я читал в романе «Рыцари льва» — сочинении Шписа.

Члены следственного присутствия не читали Шписа.

— Скажи, что означает подпись Ази-Гезга? Кого так зовут? — перешел к следующему вопросу полковник Осипов.

— Меня зовут Андреем, — пояснил обвиняемый. — Пользуясь славянским алфавитом, я написал свое имя соответствующими цифрами: А-1, Н-50, Д-4, Р-100, Е-5, И-8. Складываем цифры и получаем сумму — 168. Теперь эти цифры тем же способом переводим обратно в буквы: 1-А, 6-З, 8-И. Получилось новое слово:

АЗИ. Таким же образом из букв фамилии я создал слово «ГЕЗГА».

Членам присутствия это показалось даже забавным, и в перерыве они проделали то же со своими именами. На протяжении двух дней, невозмутимо и упорно Андрея долбили однообразными, бессмысленными и нелепыми вопросами. Что такое «действительный член»? Сколько и где именно? Что такое «представитель 2-ой степени»? Сколько и где именно? Что такое «агент»? Сколько и где именно? На какое пространство простираются «Уральские окрестности»? «Кто действует в «сопредельных местах» и чем руководствуется?

Андрей терпеливо разъяснял, что знания — вымысел, письмо — от начала до конца игра слов, но следователи упорно продолжали долбить, согласно установленному порядку.

Андрей нервничал. Бессмысленность вопроса была невыносима, сбивала с толку, лишала воли. И, наконец, она показала:

«Сочиняя это отношение, я не внимал голосу рассудка и только следовал своему воображению, которое питалось вольнодумными и пагубными учениями Гельвеция, изложенным в его «Духе разума», а также в «Записках о якобинцах» аббата Баррюэля. Безумие было главным руководителем моим. Впоследствии я с ужасом увидел пропасть, в которую безрассудно стремился. И ежели искреннее раскаяние в моем безрассудстве и противозаконной дерзости может хоть несколько уменьшить мою вину, то осмелюсь надеяться, что мое чистосердечное признание послужит единым оправданием перед троном правосудного монарха».

Андрею дали расписаться под показаниями и отправили в камеру.

— Завтра допросим Махотина, а потом обоих стукнем лбами на очной ставке. Увидим, как тогда запоют, — подвел итог берг-инспектор.

Махотин оказался сереньким, с угодливыми манерами человеком. Пустозвоном, как говорят о подобных людях. Он объявил себя невинной жертвой. И ничего не мог добавить к скудным материалам следствия.

Очная ставка не обогатила следствие. Не помогли и справки, данные заводским правлением.

Три подозрительных записки, изъятые при обыске, оказались долговыми обязательствами торговцев Сусмана и Путо, обманувших Лоцманова в торговых операциях.

Повесть «Негр, или возвращенная свобода» — тоже не вызвала подозрений: «Вольно же мальчишке писать о черномазых эфиопах, — суммировал полковник Осипов. — Всыпать плетей за возмутительное выражение — и делу конец».

К концу третьего дня следствие склонилось к мысли, что письмо есть только «шутка Лоцманова над Махотиным».

Однако, утром другого дня в облаках пыли в Верх-Исетск вкатил коляска и из нее вылез Пермский губернатор. Выслушав мнение берг-инспектора и полковника Осипова, он наморщил лоб и покрутил недовольно головой:

— Нет, господа, отступать теперь поздно. С получением вашего донесения я немедленно довел до сведения его императорского величества о злоумышленнике против государственного покоя и особы самого государя. Хорошо же о нас подумают в Петербурге!

И губернатор решил повергнуть злоумышленников к стопам государя.

... На рассвете другого дня из поселка выехала крытая повозка в сопровождении двух конвойных солдат и берг-гауптмана Тютяева, везшего при себе всеподданнейший рапорт на имя государя-императора.

Начальник генерального штаба генерал-адъютант Дибич немедленно доложил о материалах следствия царю. Николай, год назад лично допрашивавший декабристов и обнаруживший при этом изощренный талант, наотрез отказался верить показаниям

Лоцманова и наложил резолюцию: «Беккендорфу. Произвести строжайшее расследование об этом происшествии и о последствиях доложить».

Дело поступило в только что созданное III отделение Императорской канцелярии. В Москве, Верх-Исетске, Екатеринбурге и Режевском заводе тайные агенты искали сведения об арестованных. «Не читает ли Лоцманов или Махотин кому-либо возмутительной бумаги, не внушали ли они заводским людям неповиновения...»

Но подозрения о существовании на заводе тайного общества отпадали. А обвинения Андрея свелись к составлению «дерзкого и возмутительного письма», явившегося плодом «легкомысленного вольнодумства и возвышенного воображения». Решено было отправить Лоцманова в Бобруйск для определения в крепостные арестанты, а Махотина отдать помещику его корнету Яковлеву с тем, чтобы он употребил его в другом месте, а не на Пермских заводах.

5 декабря 1827 года за узником 10-й арестантской роты Андреем Лоцмановым закрылись ворота Бобруйской крепости. Событие это откликнулось записью в делах Верхисетского завода: «Служители Андрей Лоцманов и Петр Махотин исключаются из списков заводов...»

Надя с грудным младенцем на руках обивала пороги присутственных мест Перми и Екатеринбурга: «Где мой муж? Жив ли он?...»

А месяц спустя, случилось необыкновенное происшествие. В московском театре служители, стирая пыль с позолоты гербов и плюшевых кресел, нашли на полу кем-то оброненное письмо. Многие слова и разобрать было невозможно.

«Нашему агенту Соколов... Прибыв сюда, я по той причине долго не писал, что не знал, где ты находишься. Теперь же, узнав, пишу к тебе. Отъезд мой более согласился с моим писанием. Сибирская пружина должна быть главной в машине и... успех в моих намерениях... Все идет по нашему... пять лет еще и мое... предприятие ко... через несколько дней ожидай золотого изображения; по нему ты будешь допущен и многое узнаешь непостижимое для тебя. Верь и надейся».

Письмо толкнуло жандармов на догадку. Сличили почерки и безошибочно установили: записка писана рукой Лоцманова.

Николай I распорядился:

«Еще раз строго допросить Лоцманова и послать для того особого офицера».

Выбор пал на многоопытного полковника петербургского дивизиона — Фрейганга.

На стене глухой камеры Андрей ежедневно наносил по царапинам и часто пересчитывал их. Когда насчиталось 46 царапин, заскрежетал железный засов, дверь отворилась: «Неужели помиловали?» — застучало в груди.

В небольшой комнате за столом сидел блестящий полковник в голубом мундире при эполетах и аксельбантах.

— Садись, — строго сказал он и придвинул измятую бумажку. — Ты обманул государя. Утаил соумышленников. Узнаешь свою руку?

Андрей узнал одно из своих писем.

Фрейганг придвинул ему бумагу, перо и стал задавать вопросы.

«Записка, — показал Андрей, — писана мной в конце 1823 года из Верх-Исетска в Москву к товарищу детства Алексею Соколовскому, побочному сыну Пашкова... Что же касается до желанья составить свое общество, то оно родилось от мысли переменить мое состояние, ибо надежда быть свободным исчезла... Сей мысли и намерения своего никому из людей зрелого возраста не открывал, опасаясь презрения к глупым мечтам, а более того,

чтобы не открыли о сем моему отцу... Когда же я должен был отправиться на заводы, то мысль сия возобновилась... Я думал сделать опыт с Махотиным, но поступок его в рассуждении вверенной бумаги вразумил меня и, показав всю опасность моего предприятия, остановил меня...»

— А что бы ты сделал, если бы тебе в те годы сделано было предложение вступить в законопреступное тайное общество? — спросил Фрейганг.

— В сем случае не могу ручаться, особливо по тогдашнему расстроенному моему состоянию, за свои чувства и намерения, — откровенно отвечал Андрей.

— Почему ты утаил это при первых допросах?

— Я не желал запутывать в дело и подвергать ответственности Соколовского, который разделял мои вольнодумные мечты, исключительно по своей легкомысленности.

В Москве Фрейганг сверил новые показания Лоцманова. Перерыли квартиру Соколовского, но ничего не обнаружили. Жандармы еще долго собирали о нем сведения, а затем отстали.

Андрей же продолжал томиться в каземате Бобруйской крепости. Царапины на стене выстроились длинной цепочкой, и счет их перевалил за тысячу. Чтобы не спутаться, приходилось царапинами обозначать уже не дни, но месяцы, а затем и годы...

Потом счет оборвался: узник, обнаружил, что в камере, лишённой света, он начал слепнуть...

В 1832 году Бенкендорфу поступило прошение:

«...Не знаю, где мой муж и жив ли? Жена ли я мужа или вдова? Если он жив, то, как у небесного царя угодники умоляют за грешников, так, Ваше Превосходительство, у царя земного умоли за преступника, умилосерди праведный гнев его... Надежда Лоцманова».

Бенкендорф к тому времени уже забыл о существовании «злумышленника». Да и не мудро: было полно забот о поддержке покоя в смутной стране. Крепостной порядок трещал по швам, все упорнее становились крестьянские бунты, в дворянство просачивались нигилистические идеи...

«Где находится ее муж?» — сделал запрос шеф жандармов.

Скоро на имя царя поступило прошение о помиловании и смягчении участи осужденного Андрея Лоцманова. Прощение было подписано Надеждой Лоцмановой и двумя 80-летними стариками: дедом Зиновием и бабкой.

На запрос о поведении крепостного арестанта военный министр Чернышев ответил: «Лоцманов в течение девятого полугодичного времени вел себя хорошо и ни в каких худых поступках замечен не был».

На основе этого отзыва царь нашел возможным смягчить его участь и распорядился: Лоцманова освободить из крепости и отправить в Минск к тамошнему губернатору «для употребления на службу».

В начале октября 1832 года из ворот Бобруйской крепости, сутулясь, вышел человек с подергивающейся щекой и бледным лицом. Он неуклюже переставлял непослушные ноги, словно шел не по твердой земле, а по зыбучей трясине. Из воспаленных, непривычных к дневному свету глаз, которые он прикрывал ладонью, катились крупные слезы. Его усадили в телегу, рядом уселся жандарм. Телега лениво поползла по сыкатному, ухабиستمому бездорожью, мимо полосатых верстовых столбов по пути к Минску — месту пожизненной ссылки освобожденного узника.

«Он весьма близорук, имеет расстроенное здоровье и часторемеменные болезненные припадки, и к другой, кроме канцелярской, службе не способен». Установив это, местный губернатор назначил его для испытания письмоводителем управы городской полиции. Надя с ребенком переехала к мужу.

Проработав год в полиции, Андрей подал прошение о переводе на «гражданскую службу». Губернатор запросил III отделение о «дозволении бывшему крепостному арестанту поступить на

службу по гражданской части». Петербург ответил уклончиво. Наконец, губернатору надоело тратить бумагу и чернила, и он сам решил, что «нельзя»!

Надя подавала прошения Бенкендорфу, не раз ездила в Петербург хлопотать о защите больного мужа и перевода в другую губернию. Все было тщетно.

Андрей уже ничем не напоминал прежнего вольнолюбивого и талантливого юношу, полного благородных порывов. Это был человек с опустошенной душой и сломанной волей. На этом можно поставить точку...

ЖУРНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Очерк о Лоцманове, написанный более полувека назад, не утратил своей значимости.

Впервые в нашей литературе сведения об Андрее Васильевиче Лоцманове появились в 1921 году (Пажитнов К.А. Волнения среди фабрично-заводских рабочих. — Архив истории труда в России. Пг. 1921, кн.1). Информационный характер носила и небольшая глава о Лоцманове в статье В.Ганцовой-Берниковой «Отголоски декабрьского восстания 1825 г.», опубликованной в журнале «Красный архив», т.4 (17) в 1926 году. Несколько полнее жизнь и взгляды А.Лоцманова представлены в статье К.В.Боголюбова «Дело о «возмутительном письме» заводского служителя Андрея Лоцманова» в «Материалах первой научной конференции по истории Екатеринбурга-Свердловска» (Свердловск, 1947), в книгах М.А.Горловского «Горный город Екатеринбург. 1807-1863. Краткий очерк» (Свердловск, 1948), М.А.Горловского и А.Н.Пятницкого «Из истории рабочего движения на Урале» (Свердловск, 1954). Внимание к личности крепостного служителя в 60-е годы проявили М.И.Байтин и В.В.Пугачев, выступив со статьей «Политические идеи Андрея Лоцманова», опубликованной в «Ученых записках Саратовского юридического института» (1960. Вып.9). Л.А.Коган сначала напечатал статью «Из истории народного свободомыслия в России начала XIX века (Дело Лоцманова)» в «Вестнике истории мировой культуры» (1961, №3), а затем представил обстоятельный анализ философских, нравственных и политических позиций уральского вольнодумца в большой главе «Дело Лоцманова» в своей монографии «Крепостные вольнодумцы. (XIX век)» (М. 1966). Тогда же появилась солидная литературоведческая статья А.В.Астафьева «Ревнитель свободы» А.В. Лоцманова», напечатанная в книге «Проблемы русской литературы» (Ярославль, 1966. Вып.1).

В 30-е же годы «верхисетским мечтателем» заинтересовался В.А.Вогау. В 1935 году в журнале «Штурм» (Свердловск, №6) появилась его повесть «Андрей Лоцманов», а в следующем — небольшой отрывок из нее напечатан в «Литературной хрестоматии к истории Урала» (Свердловск. Т.1.XVII-XIX века). Хотя В.А.Вогау и не был первооткрывателем Лоцманова, но его вещи, написанные в документально-художественной форме, несомненно способствовали пропаганде исторических знаний.

Опубликованный в сокращении очерк — это вариант повести, напечатанной в «Штурме». Изменена композиция, кое-где введен дополнительный фактический материал, которого нет в повести, кое-что подверглось сокращению, видны и другие следы авторского вмешательства в текст. Однако основа сохранена. Но за прошедшие десятилетия историческая наука узнала о Лоцманове значительно больше: процесс познания не стоит на месте.

В повести Лоцманова «Негр, или возвращенная свобода» В.А.Вогау правильно увидел протест против рабства и крепостничества. Но к этому следует добавить, что повесть написана не в Москве, как можно понять из очерка, а в 1824 году на Верхисетском заводе, когда автор лицом к лицу столкнулся с каторжными условиями жизни на предприятиях Урала.

На допросе в Петербурге 9 июня 1827 года на вопрос жандармского следователя «для чего ты избрал содержание сей повести», Лоцманов ответил весьма лукаво: «вздумал сделать... подражание» книге «под названием «Негр, или Черной, каких мало бывает белых». Сочинение под таким заголовком, переведенное «с иностранного» Ильей Грешищевым, вышло в Москве еще в 1797 году. Но ничего общего ни по форме, ни по содержанию с повестью Лоцманова не имеет. Значит, Андрей вполне обдуманно и сознательно скрыл что-то? Что же? Современные исследователи считают, что прямым предшественником Лоцманова в разработке «негритянской темы» был писатель-радищевец В.В.Попугаев, чей очерк «Негр» напечатан в «Периодическом издании Вольного Общества любителей словесности, наук и художеств» в 1804 году. Это сильное и смелое обличие российского рабства под прозрачным «негритянским» флером. Своим пафосом, эмоциональностью, высоким стилем, ораторскими приемами речи повесть Лоцманова напоминает очерк Попугаева и своеобразно его продолжает.

На том же допросе следователь спросил Андрея: «нет ли еще твоих каких-либо сочинений, в каком роде и где оные находятся?» «...Других сочинений моих не имею, — отметил Лоцманов. — Иногда делал опыты писать стихами, но, будучи недоволен оными, уничтожал». И здесь подсудимый кое-что утаил. Мы знаем: он сделал перевод с французского романа Вальтера Скотта «Пират», одобренный С.Н.Глинкой, был инициатором, составителем, издателем и одним из авторов сборника «Переводы и сочинения в прозе», вышедшего в свет в 1823 году в московской типографии С.И.Селивановского.

Книга посвящена учителю рисования и французского языка, воспитателю Андрея, Гаврилу Ивановичу Галлеру-Фиону. Это была незаурядная личность. Кроме звания «инженерного офицера», он имел и другое — член императорской С.-Петербургской Академии художеств. Галлер глубоко интересовался естественными науками, состоял в Обществе испытателей природы при Московском университете, преподавал механику в Московском технологическом институте. Он не был «фон Галлером» и не готовился стать пастором. Источник ошибки В.А.Вогау — мимоходом упомянутый в жандармских документах некий пастор Галлер, содержавший пансион, в котором находился А.Соколовский до поступления в пансион штабс-капитана Галушки.

В сборнике «Переводы и сочинения в прозе» 38 произведений разных жанров. Авторы — воспитанники пансиона Галушки: А.Лихарев, П.Павлов, М.Щербинин, Ф.Салманов и сам издатель А.Лоцманов, которому принадлежат четыре перевода и пять оригинальных сочинений. Предположительно, три анонимные материала также сделаны Андреем Васильевичем. То есть почти треть опубликованных текстов вышли из-под его пера. Не желая подвергать беде Г.И.Галлера и своих друзей по сборнику, Андрей скрыл от следствия его существование.

Все эти сведения, найденные усилиями ряда исследователей, в свое время не были известны В.А.Вогау.

Виталий ПАВЛОВ.

— А за что выгнать-то?

— За всякое. Тогда ведь как было? Что-то не так сказал или на работе не досмотрел, сразу: «Партбилет положишь на стол!» Последний раз я не выдержал, заорал: «Ну и подавитесь вы им!» Это было вскоре, как бабушка твоя умерла... Уж что поднялось в парткоме! Крик, экстренное собрание... Ну, не выгнали, учли «состояние, вызванное личными мотивами», дали строгача...

— С занесением? — понимающе спросил Кинтель.

— Естественно... Теперь думаю: может, стоило тогда хлопнуть дверью. Ну, поперли бы с должности, ушел бы участковым терапевтом в районную поликлинику. Кое-что помню еще...

— Это никогда не поздно, — философски заметил Кинтель.

— Да теперь и хлопать-то... никакой доблести в этом. Сейчас толпами из партии бегут. Немудрено. Как послушаешь нынешних партбоссов... Нынче вот тоже по радио выступал один. Генерал, фамилию не помню. Такой комиссар-сталинец, аж волосы дыбом. Ты не слыхал?

— Не-а...

В те дни шел съезд Российской компартии, взрослые слушали передачи, обсуждали, спорили. Кинтелю было это «до фени». Но он все же вспомнил:

— Мужики сегодня ругались, вспоминали речь какого-то генерала. Одни говорят: совсем обабдел, мало ему тридцать седьмого года. А другие: правильно, только такие и могут навести порядок...

— Они наведут, дай им только власть. В Тбилиси вон уже репетировали... Не постоят и за тем, чтобы как тогда, в Крыму: по шеренгам из пулеметов... Кстати, мама моя, твоя прабабушка Ольга Анатольевна, проговорила мне как-то, что именно там погиб ее хороший друг, с которым они в детстве играли...

— Это, что ли, тот, с которым они на фотографии?

— На какой?

— Ну, на той, с которой портрет срисован. На портрете твоя бабушка одна, а на фото — с девочкой и с пацаном-гимназистом. Девочка — это, значит, твоя... мама.

— А где ты видел эту карточку? — очень оживился дед. Шумно завопил в сумраке.

— У отца в ящике. Старинная, твердая такая, на обороте всякие завитушки и надпись: «Фотография. А. Эф. Молохова. По старинному написано, буква «и», как латинская, а «эф», будто «о» с перекладинкой. Фита...

— Вот оно что... Слушай, а ты не помнишь,

там нет всяких мелких цифр? Они острым карандашом были написаны, не очень заметно...

— Есть, по-моему. Только полустертые, я не приглядывался.

— Значит, вот он где, этот фотоснимок. А я все думал: куда девался? Выходит, Валерий прихватил, когда разъезжались, и ничего не сказал.

— Толеч, а что там за цифры?

— Мама говорила, Никита ей на этой карточке письмо написал. Шифром. Это перед отъездом на фронт, когда он в четырнадцатом году уходил добровольцем на Первую мировую. А потом он оказался в армии Врангеля, там и погиб... А фотографию мама берегла как память о нем. Ну, и вообще о детстве...

— А письмо расшифровала?

— Говорила, что нет... Он ей будто бы сказал на прощанье: «Ключ у твоей мамы в руках...» А в руках у нее книга. Помнишь?.. Думаю, что книга потерялась к тому времени... А может, мама тогда и не приняла это всерьез. Он же, Никита-то, еще совсем был мальчишка, когда на войну ушел. Наверно, решил поиграть на прощанье. Или сочинил очередное признание в любви...

— А что за книга?

— Не знаю, Даня, я не спрашивал. Мама вообще про всякие прошлые дела говорила неохотно. Друг детства — белый офицер, такими деталями биографии раньше хвастаться было не принято. Тем более, что и других тревог хватало...

— Похоже, что это Евангелие, — сказал Кинтель, вспомнив пухлый томик с застешками. — Я такие в музее видел.

— Возможно, и скорее всего, на польском языке. Бабушка Текла Войцеховна была очень набожная католичка.

— Толеч, а она самая настоящая полячка была?

— Да, полячка... Родом из Вильно. В Литве всегда было много поляков... Кстати, бабушка утверждала, что она из семейства каких-то польских графов — обедневших, но известных. Будто предок ее был сподвижником Стефана Батория. Жаль, не помню ее девичью фамилию... Но так или иначе в тебе, Данила, есть капля голубой шляхетской крови... — Дед усмехнулся в темноте.

— Значит, я не совсем русский, а маленько поляк?

— На одну восьмую... А я — наполовину. Мама-то моя тоже исконно польских кровей. Ее отец, мой дед Антон Винцуковский, был из семьи польских ссыльных, что жили в Преображенске. А с бабушкой познакомился в Вильно и после венчания привез ее в наш город. В тот самый дом, где мы и сейчас живем.

— Небось это был его собственный дом?

— Нет, Управления горных заводов. Здесь

жил отец Антона, мой прадед, он был в Управлении каким-то важным чиновником и занимал казенную квартиру. Не ту, что мы с тобой, конечно, а весь этаж... Там и мама моя родилась и была тоже Винцуковская, пока не вышла замуж за Анатолия Рафалова. Твоего, значит, прадедушку...

— Тени забытых предков, — сказал Кинтель в темноту, — кино такое есть. В мае показывали по телику.

— Знаю. Ну, и как тебе кино-то? Понравилось?

— А я не смотрел, некогда было. Просто название вспомнилось...

— Ну, наши-то предки не такие уж забытые. Просто у нас с тобой до сей поры не было разговора об этом...

— А Рафалов... Толич, это ведь тоже не совсем русская фамилия. Какая-то... вроде как с татарским оттенком. Про нас с Рафиком Галиевым в детском саду думали, что оба татары. И мы говорили «ага», потому что всегда вместе...

— Н-нет... это русская фамилия. Тут целая история по отцовской линии...

— Расскажи.

— Тут такое дело... Раньше фамилия писалась «Рафаиловы». Был в русском флоте фрегат «Рафаил». Служил на нем квартирмейстером (это вроде старшины) некто Иван Гаврилов. А когда вернулся к себе на село, недалеко от Преображенска, стали соседи звать его Рафаиловым — по названию корабля, с которого пришел. По тому что много Иван Гаврилов про свой фрегат говорил, отстаивал, так сказать, его доброе имя... У Ивана Рафаилова были дети, один из них, Петр Иванович, преуспел в делах, сделался лавочником в Полевской слободе под Преображенском. И стал писать на вывесках не «Рафаилов», а «Рафайлов». Говорят, книжечей был, много денег на книги тратил, сына своего, тоже Петра, отдал в гимназию. Тот выучился, пошел, как тогда говорили, по железнодорожной части. Был начальником станции недалеко от Глазова. И погиб в колчаковской контрразведке.

— Почему?

— Когда белые подходили, они передали телеграмму: не выпускать со станции красный санитарный поезд. А Петр Петрович Рафайлов выпустил. Потому что знал: постреляют, порубят красных. Тогда лютовали одинаково — что красные, что белые... Ну, и взяли его, Петра Петровича. Допрашивали, били. Особенно, когда узнали, что сын его Анатолий ушел с красными...

— Твой отец?

— Будущий отец... Петр Петрович пытался бежать, часовой его застрелил... Анатолий, когда вернулся из Красной армии, приехал в Преображенск, надеялся застать там своего престарело-

го и разоренного новой властью деда. Но тот уже умер. И тут Анатолий познакомился с Ольгой Антоновной, моей будущей мамой, и увез ее в Вятскую губернию...

— Зачем?

— Видишь ли... Ну, наверно, теперь это можно рассказывать без опаски. Дело в том, что Анатолий Петрович вернулся с гражданской войны вовсе даже не коммунистом. До войны он учился в семинарии и вот после всех военных передраг решил стать священником. Не знаю, учился ли он для этого еще где-то. Может, были в ту пору какие-то ускоренные курсы священнослужителей. Так или иначе скоро получил он сан и приход в небольшом селе, в сотне верст от Вятки. А мама моя стала, как говорится, попадшей...

— Странно как-то. Был красным и вдруг... Красные ведь были против Бога и попов...

— Ну, значит, насмотрелся на кровь, решил, что без Бога нельзя на Земле... Сейчас вот опять к тому же приходят... Видать, он крепко был убежден в своей вере, иначе бы не пошел на такое дело. В ту пору сделаться священником было уже не безопасно... До тридцатого года, однако, жили они с мамой без особых бед: отец в церкви служил, мама хозяйствовала. Родился у них сын Володя, мой старший брат. Я его помню, он с фронта приехал, когда мне было пять лет, в сорок четвертом. А в сорок пятом погиб...

— А в тридцатом-то что случилось?

— Обычное дело. Церковь закрыли, отца посадили. Правда, через полгода выпустили, по вальной охоты за «врагами народа» тогда еще не было. Но от сана священника ему пришлось отказаться, стал работать десятником на лесоповале. Однако недолго. Однажды пришел к нему украдкой начальник местного НКВД и говорит: «Отец Анатолий (это он по привычке так), вы человек добрый, хотя и церковный деятель были, и никто от вас ничего, кроме хорошего, не видел, а я, хоть и большевик, не хочу грех на душу брать. Поэтому прямо сейчас уезжайте вы ради вашего Иисуса Христа куда-нибудь отсюда подальше. Потому что есть бумага на вас, и сегодня ночью я должен за вами прийти с понятиями...» Ну, отец и мама, и Володя семилетний тогда подхватились — в Преображенск. Потому что куда еще-то? А там родные. Мамины родители были живы еще и старший брат... У отца был какой-то документ, что, мол, предъявитель сего имеет право быть учителем в начальной школе. Еще с царским орлом бумага, но ничего, сгодилась. Мамин брат помог устроиться на работу... А потом отец окончил учительский институт и до самой войны преподавал в семилетке русский язык и литературу...

— А потом на фронт, да?

— На фронт не взяли, здоровье у него было слабое, язва желудка и еще что-то. Но забрали в трудармию. Были такие подразделения, в тылу работали, но по военному призыву... Я их помню, бредут по улице худые, форма — сплошной утиль, обмотки разлохмаченные... Ну, отец заболел, когда они работали на лесозаготовке, и умер в начале сорок второго. Причем похоронили там же, где-то на деревенском погосте, могила потом затерялась. Было мне тогда три года с половиной. И фамилия моя тогда была уже Рафалов. Потому-то отцу удалось каким-то образом изменить ее, когда подавал в школу документ, а потом новый паспорт выписывал. Рисковал, конечно...

— А зачем?

— Ты не понимаешь, как тогда было. Над ним же все годы опасность висела. Если бы узнали, что бывший священник, тут бы он и суток на свободе не прожил. Тогда что творилось-то! Совсем невиноватых брали пачками, по первому доносу, а то и просто так, по разнарядке... Это вообще чудо, что он уцелел... А то, что он был священником, я узнал уже взрослым, после института. Мама рассказала незадолго до смерти...

— Значит, по правде я Рафаилов? — сказал Кинтель. Задумчиво и слегка тревожно. Потому что «тени забытых предков» словно толпились в сумраке и чего-то ждали.

— Нет, брат, ты все-таки Рафалов. Как и я. Так уж нам с тобой предписала судьба... Да, по правде говоря, и не стоило держаться за «Рафаилова». Недаром еще мой дед букву изменил.

— А почему?!

— А ты никогда не слышал о фрегате «Рафил»?

— Не-а...

— История эта совсем не героическая и для русского флота печальная... А о бриге «Меркурий» слышал?

— Конечно! Ты же сам в том году мне книжку подарил, «Корабли-герои»...

— Ну вот... Бой «Меркурия» с двумя турецкими кораблями, славный и победный, был четырнадцатого мая тысяча восемьсот двадцать девятого года, про него много написано. А двумя днями раньше случилось дело совсем иного рода: турецкому флоту без боя сдался наш фрегат «Рафаил»... Про это написано гораздо меньше, хотя есть какой-то материал...

— Как это... сдался? — со стыдливым чувством спросил Кинтель. И с обидой. Слово его самого кто-то обвинил в малодушии.

— Ну, как... Был этот «Рафаил» в одиночном плавании, догонял несколько наших малых судов, чтобы по приказу адмирала Грейга взять над ними командование. Только своих не догнал, а однажды утром увидел на горизонте турецкие

суда. Полтора десятка. В том числе шесть линейных кораблей. Это было неожиданно, русские думали, что неприятельский флот отстаивается в Босфоре... Командовал «Рафаилом» Семен Михайлович Стройников, капитан второго ранга. Он, конечно, принял решение уходить от противника. И ушел бы при хорошем ветре, потому что фрегат был новый, быстроходный, только год назад его спустили с верфи в Севастополе. Правда, успел он побывать в боевых переделках и в ремонте, но и после того ход сохранял быстрый. Но на беду ветер стал стихать. Тяжелые турецкие корабли на попутной зыби получили преимущество хода и к середине дня взяли «Рафаил» в кольцо. С военной точки зрения дело для русских было совершенно безнадежное. Стройников приказал спустить флаг. На фрегат высадили десант, офицеры отдали сабли...

— Значит, Стройников струсил? — сказал Кинтель, преодолевая вязкую неловкость.

— Непонятная это история, — вздохнул дед. — Стройников был безусловно смелым офицером. Кавалер нескольких орденов, в том числе и Георгия четвертой степени, который давался за мужество в бою... Кстати, таким же орденом потом был награжден капитан-лейтенант Казарский за свой знаменитый бой «Меркурия» с «Рел-беем» и «Селемие»... И вот еще совпадение: совсем недавно Стройников командовал тем самым «Меркурием», на нем-то и орден заслужил, и чин капитана второго ранга, после чего пошел, как говорится, на повышение, стал командиром фрегата... Видишь, он был далеко не трус, в сражениях участвовал не раз и, конечно, как любой бывалый офицер, готов был к тому, что жизнь свою закончит от пули или ядра...

— Тогда почему же...

— Вот именно — почему?.. Может, надлом души случился, когда увидел, как со всех сторон придвинулись эти громады. Некоторые размером аж с нашего «Кутузова», орудийные люки в два-три этажа, мачты до небес... Может, показалось: сама судьба так велит, не противься, мол, воле Божьей... А может, просто поразила вся бессмысленность такой гибели...

— А в самом деле, — стыдливо заступился за капитана Стройникова Кинтель. — Что он мог сделать?

Дед снова то ли вздохнул, то ли усмехнулся:

— Ну... то, что Морской устав требовал. Тот, который еще Петр Великий сочинил. Флаг не спускать, биться до последнего и погибнуть с честью... Потому что честь флота и флага Российского жизни дороже... Кстати, в рапорте царю, посланном из плена, Стройников писал, что сперва офицерами так и было решено: сражаться до последней крайности, а потом сцепиться с каким-нибудь вражеским кораблем и взорваться



вместе с ним. Но матросы, вроде бы, заявили, что не пойдут на это...

— Правда заявили так?

— Кто знает... А Иван Гаврилов, предок наш, прозванный Рафаиловым, утверждал потом, что Стройников пожалел людей, поступил по-божески, не дав погибнуть в огне матросам, коих было на «Рафаиле» более двухсот... Однако сын его Петр, который стал торговцем, с этим был, видать, не согласен. Потому и фамилию поменял: не хотел сомнительной славы. Так мне кажется...

Кинтелю было жаль Стройникова. И в то же время ощущал он какую-то сдавленность, будто есть в бесславии «Рафаила» и его, Даньки Рафалова, частичка вины. Хорошо, что в каюте было темно. В этой темноте Кинтель хмуро спросил:

— А что это за плен такой, из которого можно своему царю рапорты посылать?

— Обычное дело. Война ведь была не та, что в наши времена, выполнялись международные правила. Даже турки, несмотря на свой янычарский нрав, были вынуждены соблюдать воинский этикет в обращении с пленными. По крайней мере, с офицерами. Дали им возможность отправить письма через нейтральное посольство...

— А потом что с ними было? С пленными...

— Война кончилась, вернулись в Россию. С матросов какой спрос, а офицеров отдали под

суд. И суд этот, во главе с адмиралом Грейгом, всех приговорил к смертной казни. Ну, тогда это в обычае было: сперва смертный приговор, а потом император милосердно смягчает его. И Николай Первый приказал разжаловать осужденных в матросы. Говорят, дворянства их лишил. По крайней мере, Стройникова. А в одной старой книге я читал даже, что царь запретил Стройникову до конца дней жениться. Это для того, мол, чтобы «не плодить потомство трусов»... Его величество весьма щепетилен был в вопросах воинской чести. Он даже такой приказ отдал: если в каком-нибудь сражении русские отобьют «Рафаил» обратно, фрегат этот в наш флот больше не зачислять, а сжечь, потому что он опозорил андреевский флаг... Его и правда сожгли, через двадцать с лишним лет, в Синопской бухте. Нахимов тогда уничтожил там всю турецкую эскадру. А «Рафаил» в ту пору назывался «Фазли-Аллах», то есть «Подарок Аллаха», и был обветшалый уже...

— Толич, а из матросов можно было выслужиться обратно в офицеры? — Кинтель будто искал спасительную лазейку для Стройникова. Потому что страшно же так: умереть с несмытым пятном.

— Выслужиться? Это когда как... Стройникова, по-моему, разжаловали без выслуги. Тянул он матросскую лямку на Белом море, а что с ним потом стало, не знаю... А до своей службы

в нижних чинах Стройников еще провел три года арестантом в Бобруйской крепости. В той же крепости побывал и кое-кто из декабристов, я читал их воспоминания, что условия там были каторжные...

Кинтель подумал, что каторжные условия были, наверно, не самым страшным наказанием для капитана Стройникова. Страшнее было все годы чувствовать себя изменником и знать, что никак это теперь не исправить.

Он попытался представить себя на месте Стройникова. Приказал бы он спустить флаг?.. Конечно, это жутко — знать, что вот-вот тебя искрошат залпами из орудий, сожгут, разнесут на клочки. Но если ты боевой офицер... и если всю жизнь знал, что возможен такой конец... К тому же смерть — это лишь один миг... А кроме того, был капитан второго ранга Стройников наверняка православным христианином. А верующие люди знают, что душа не умирает, ее ожидает жизнь вечная.

Кинтель тоже считал, что душа бессмертна. Только было тут много неясностей. Или она после смерти тела навсегда поселяется где-то в космосе или переходит в другого человека? Скорее всего, переходит. Иначе отчего снятся иногда сны, будто ты вовсе не Данька Рафалов, а кто-то совсем другой, в незнакомом городе, в старинные времена? Это, наверно, память о прошлой жизни.

Теплоход шел ровно, лишь иногда чуть подрагивал корпусом. Кинтель попытался представить, что над «Кутузовым» громадные мачты и темные паруса, которые неспешно двигает ровный ветер. Но тогда получилось, что это уже не «Кутузов», а фрегат «Рафаил» в ночь перед сдачей в плен. Кинтель не хотел такого. И стал думать о другом. О трубаче, который стоит на каменной стене и готовится заиграть сигнал. Но песня про трубача вспомнилась словами, в которых был упрек:

Наш трубач ни за что
Не сыграет отбой...

А фрегат «Рафаил» с предком Кинтеля сыграл отбой...

Дед уже посапывал — явно во сне. Кинтель повернулся на бок, прогнал все мысли и после этого стал сердито засыпать без всяких сновидений...

СОСТЯЗАНИЕ

Завтрак дед и Кинтель проспали. Наскоро перекусили в буфете и еле успели на автобус, который от маленькой пристани повез туристи-

ческую группу в Кириллово-Белозерский монастырь.

День был теплее прежних, проблескивало солнце. Дед подремывал, Кинтель глазел на окрестности. О ночной беседе они с дедом не вспоминали. У них и раньше так бывало: вечером разговаривали о всяких «философских» вопросах, а утром Толич — серьезный, деловитый, молчаливый. Мне, мол, не до болтовни, масса важных дел. Но Кинтель понимал, что дед просто стесняется откровенности, которая случилась накануне. Может быть, даже ругает себя за излишнее многословие. Ну и ладно, Кинтель в такие минуты к нему не приставал.

Порой Кинтель ощущал себя взрослее деда. По крайней мере, кое в каких житейских вопросах. Конечно, Виктор Анатольевич занимался ответственной работой: ведал кадрами в главной областной больнице и ее отделениях. Его хорошо знали в облисполкоме, иногда он печатал в «Краснодзержинском знамени» свои статьи про безобразия, которые случаются в областном здравоохранении по вине местных чиновников. Те делали ему в отместку всякие гадости, но всерьез уязвить не могли, был у деда орден «Знак Почета», две медали, благородная седоватая прическа, довольно стройная (несмотря на животик) осанка и строгое интеллигентное лицо. Особенно, когда Виктор Анатольевич водружал на переносицу большие блестящие очки. Но Кинтеля-то эти внешние признаки солидности обмануть не могли.

Дед, как мальчишка, обожал фильмы про пиратов и мушкетеров, любил бродить по городу, по самым закоулкам, открывая для себя всякие любопытные мелочи. Мог несколько дней подряд (особенно когда стал вдовцом) питаться всухомятку, потому что лень готовить. Мог истратить последние деньги на альбом художника Сальвадора Дали, на редкие значки для своей коллекции, про которую вспоминал время от времени.

Собирал дед значки с гербами городов. Кинтель этого увлечения не понимал. Страсть к коллекционерству была ему чужда. Редкой вещицей можно, конечно, полюбоваться, но обмирать о ней, желать, чтобы она была обязательно твоя — какой смысл? Впрочем, это не помешало Кинтелю выпросить у деда значок со старинным гербом Преображенска. На гербе три золотые рыбы в голубых струях реки, а сверху одномачтовый кораблик с длинным вымпелом — «в знак рыбного изобилия, а также того, что с пристани на реке Соже начинается плавание по рекам всего края» Но значок нужен был не ради собирательства, а чтобы малость похвалиться перед Алкой Барановой...

Не одобрял Кинтель и чрезмерной дедовой

страсти к хоккею. Взрослый человек, а подскакивает на стуле перед экраном и вопит, как пацан, когда «Спартак» вляпывает противнику шайбу... Впрочем, на этом деле многие мужики слегка сдвинуты по фазе...

Было, однако, у деда с Кинтелем и много общего. И прежде всего — отвращение ко всякой зависимости, принуждению и унижению. Кинтель и уроки-то старался учить аккуратно не из-за какой-то там любви к знаниям, а чтобы не топтаться у доски и не мямлить под ехидным учительским взглядом. А дед, например, не желал покупать машину, хотя денег мог бы наскреести. Говорил: «Это чтобы любой взяточник в погонах и с полосатой палкой мог меня останавливать на улице и всячески надо мной измываться? Дудки!» По той же причине он отказывался ездить за границу. «Пока оформишь все документы и визы, пока настоишься в очереди, чтобы обменять валюту, инфаркт заработаешь. Всякий проходимец на конторской должности смотрит на тебя, как на вошь в томатном соусе, хмыкает и размышляет: поставить печать или помурить еще? В молодости я за кордоном кой-чего повидал, а теперь не соскучусь и в своей провинции...»

Почему «вошь в томатном соусе», было непонятно, однако общую позицию деда Кинтель одобрял. «Проходимцев», которые засели среди всякого начальства, он тоже не жаловал...

Кириллово-Белозерский монастырь поразил Кинтеля. Гораздо больше, чем Кремль в Москве. Башни и зубчатые стены Кремля были знакомы по картинкам, по ежедневной передаче «Время», в них чудилось что-то официальное, связанное с неласковой государственной властью. А здесь стояла первозданная былинная крепость без всякой парадности, с замшелостью камней, с кустиками в бойницах. С нерастраченной мощью веков.

Внутри крепости оказалась целая страна. Как в «Сказке о царе Салтане». Всюду поднимались купола, колокольни, башенки с маковками, манили к себе какие-то арки, переходы, запутанные дорожки. И лежала на всем этом тихая солнечная ласковость.

Они с дедом отстали от группы, ходили сами по себе. Толич то подолгу молчал, то шумным шепотом начинал восхищаться и приглашал Кинтеля разделить этот восторг. Кинтель кивал молча. К чему тут слова?

В широком арочном проходе, где на облупившейся штукатурке виднелись сверху неясные фрески, дед задержался. Постоял, подняв голову. Сквозь пятна, блеклость и паутинную серость проступал на своде образ Божьей Матери с маленьким Иисусом на руках. Были у Богороди-

цы большие печальные глаза. Мальчик, подняв серьезное лицо, прижимался к матери щекой и словно хотел прошептать ей что-то очень-очень важное...

Дед постоял с поднятой головой и перекрестился двумя легкими взмахами. Потом быстро и виновато оглянулся на Кинтеля. Тот сделал вид, что ничего не заметил.

Он знал, что дед верующий, тот и не скрывал этого от внука. Пару раз они даже рассуждали о религии, о Боге и о бессмертии. Кинтель, наверно, тоже был верующий. По крайней мере, он считал, что Создатель, который сотворил Вселенную, где-то есть. Какая-то огромная энергетическая сила, наделенная всеобщим сверхразумом. Кинтель уважал этого Создателя, но думал, что молиться ему бесполезно. Разум, управляющий бесконечным Космосом, разве мог отрешиться от своих вселенских дел, чтобы заняться крошечным человечком на какой-то окраинной планетке?

Кинтель как-то в минуту вечерней откровенности поделился этими соображениями с дедом. Толич сказал, что такая «философская концепция» не нова и достаточно примитивна. «Ты, Даниил, еще просто не дорос до истины, что Бог настолько велик, что он в каждом человеке и что человек, если он хочет познать Бога, должен стремиться к нему душой...»

«Чего же к нему стремиться, если он и так в каждом человеке?» — поддел Толича Кинтель, хотя главную мысль деда, кажется, уловил.

— Тьфу на тебя, — сказал дед. — Рассуждения твои плоские, как противень... Ты бы хоть Евангелие почитал, вон в журнале «Литературная учеба» новый перевод.

— А я читал... Только я все равно ведь не крещеный...

— Разве дело в обряде, — вздохнул дед.

При внуке Толич никогда не молился, в церковь он тоже не ходил. Может, боялся, что ему, члену партии, за это попадет, а может, и правда считал, что дело не в обрядах... А тут, в монастыре, что-то, видать, шевельнулось у него в душе...

Кинтель еще раз посмотрел на фреску. И вдруг вспомнил, как мама Сани Денисова поправляет на сыне воротничок и ласково лохматит ему волосы. Взлохматит и тут же пригласит...

И вот ведь правду говорят: легок на помине. Буквально через полминуты Кинтель увидел Салазкина.

Арочный проход вывел их на широкий двор, опоясанный крепостной стеной с галереей. Поле это, густо усыпанное звездами одуванчиков, было почти пустое. Только в центре его подымалась ветряная мельница. Видать, ее привезли сюда из какой-то деревни — как экспонат. Кучки туристов затерялись в этом травянистом простор-

ре. Недалеко от мельницы лежал штабель бревен: наверно, для ремонта. Одно тонкое и длинное бревно нижним концом уходило в траву, а верхним лежало на краю штабеля. И вот по этому-то наклонному бревну шел, балансируя, Саня Денисов. Салазкин. Он был похож на циркового гимнаста.

Штабель высотой был метра два. Салазкин уже почти достиг верха. А у бревна — вполне объяснимо, хотя и смешно — как взволнованная курица, беспокоилась мама:

— Ты куда? Шею свернешь! Спускайся немедленно!.. Ай, осторожно!.. Вниз, кому я сказала!.. Ну подожди, спустись только!

Несколько дам из той же группы квохтали и качали головами. Отца не было видно. Салазкин достиг верха и остановился там — маленький, гибкий, с упертой в бок рукой и вскинутой головой. Будто нарисованный чернилами на фоне освещенной солнцем стены.

— Ух, отсюда как здорово видно!

— Ай, не качайся! Спускайся, тебе говорят!..

Кинтель сыграл в мгновенную игру: присел, будто поправляет шнурок на кроссовке — так, что на линии взгляда верхний край штабеля совпал с гребнем крепостной стены и Салазкин оказался как бы на этой стене. Маленький трубочка над крепостью. Правда, не было трубы, но Кинтель представил ее зримо со вспышкой солнца на серебряном ободке...

— Александр! Ты смерти моей хочешь?

Салазкин сел на корточки, помедлил секунду и скакнул с высоты в траву. Ай да мамин ребенок!

Мать ухватила его за свитер, убедилась, что чадо невредимо, дала ему шлепка.

— Изверг! Отцу скажу... Колготки порвал на колене, чучело... Куда ты опять?!

Салазкин взбрыкнул тонкими черными ногами, ускакал в сторону. Закрутился, обирая с темно-синего свитера травяной мусор.

Далеко, за воротами монастыря, засигналил автобус: пора...

В середине дня, когда вошли в Белое озеро, по радио было объявлено, что организуется экскурсия в ходовую рубку. Записывайтесь в группы, товарищи... Дед сказал:

— Не бывал я в этих рубках, что ли?.. Я буду письмо писать. А ты иди.

Кинтель оказался в одной группе с Денисовыми. Его и Салазкина взрослые пропустили вперед — детям заботу и внимание (всегда бы так!).

Квадратные, с закругленными углами окна образовывали в рубке сплошную прозрачную стену. Под ними тянулся широкий пульт — кнопки, телефоны, дисплеи, циферблаты, карты — в глазах замельтешило. Увидел Кинтель и знакомую

по снимкам и кино стойку магнитного компаса — нактоуз. Почти такую, как на старых кораблях... Молодой, но уже с залысинами, полноватый штурман — один из помощников капитана — давал объяснения. Вежливо, но с ленцой (видать, надоело). Говорил, что теплоход — один из самых крупных среди речных судов мира. Что может ходить и по морю, если высота волны не больше четырех метров. Что навигационное оборудование — самое современное.

— Для поворота вправо-влево стоит лишь нажать нужную кнопку. Видите, у нас нет здесь даже намека на привычное рулевое колесо, имеющееся в просторечии штурвалом...

«Жаль, что нет», — подумал Кинтель.

— Скорость — до двадцати узлов... — с той же ленцой продолжал штурман. Массовик Кирилл Георгиевич, не забывавший занимать подопечных пассажиров, интригующим голосом задал вопрос:

— Кстати, кто скажет, что означает эта скорость — узел?

Кинтель хмыкнул про себя. Высовываться не хотелось. Какой-то дядька у него за спиной басовито возгласил:

— Это, как я понимаю, одна морская миля в час...

— Абсолютно верно! — обрадовался Кирилл Георгиевич. — А кто скажет, велика ли она, эта миля?

— Что-то около двух километров, — отозвался дядька.

Кинтель не выдержал, сказал насупленно:

— Тысяча восемьсот пятьдесят два метра...

Тут оживился штурман:

— Точно! А откуда взялась эта некрутая величина?

Кинтель заразмышлял: говорить дальше или не стоит? Чего хорошего, когда все на тебя глазют... И в этот момент раздался голосок Салазкина:

— Минута географического меридиана...

С ума сойти! Откуда он знает про меридианы-то? Кинтель скосил взгляд. Папа Денисов что-то тихо говорил сыну. Подсказывал? Мама поправляла у сына широкий воротник свитера.

Тогда Кинтель сообщил, глядя сквозь стекла на открытый горизонт Белого озера (синий, в солнечных облаках):

— Деления минут откладываются на боковых краях штурманских карт. Чтобы легче было измерить расстояния... — Все-таки он был внук деду, который в молодости плавал на океанских судах. Да и читал про флотскую жизнь Данька Рафалов немало...

Штурман оживился еще больше:

— Тут, я смотрю, знатоки...

— Это меркаторские карты, — сообщил Са-



лазкин. Такой вот восьми- или девятилетний пацаненок, где-то нахватавшийся морских познаний. Кинтель не ощутил ни зависти, ни досады, но появился хмурый азарт. Кинтель выговорил:

— На этих картах прямоугольная сетка координат. Вот как тут, на пульте... — И не удержался, опять бросил взгляд на Салазкина. Тот смотрел своими широко посаженными глазами с веселым интересом. И словно бы с желанием познакомиться. Но Кинтель отвернулся.

— Прекрасно! — радовался Кирилл Георгиевич. — Сейчас не будем тратьте порох, а скоро устроим конкурс морских знатоков. Я думаю, такие найдутся и в других группах. Победителю — приз...

Состязание устроили через два дня, накануне прихода в Ленинград. Опять было зябко и пасмурно. Ладога катил под низким небом плоские зеленоватые валы. Слева тянулся еле заметный низкий берег, справа и впереди был открытый горизонт. Чуть покачивало. В салоне уютно светились лампы.

Дед был почему-то не в духе и в салон не пошел. А Кинтель пошел. Народу оказалось немного, хотя трижды объявляли по радио. Человек десять взрослых и столько же ребят.

Кирилл Георгиевич вышел к пианино, словно

к трибуне. И бодрым голосом выразил надежду, что здесь собрались знатоки морской истории и флотских премудростей. Сказал еще раз о призе, ожидающем победителя. Спросил, есть ли желающие позаседать в жюри. Нашлись двое: чья-то мама (судя по всему, активистка родительских собраний) и подвижный старичок с богатейшим набором орденских ленточек на пиджаке (может, бывший моряк?).

— Ну, а третьим буду я! — весело решил Кирилл Георгиевич. И для начала задал вопрос: кто из русских моряков первым обошел вокруг света?

Сразу вскинули руки трое: полная девушка с желтыми волосами, худой парнишка с прыщиками на носу (кажется, Костя) и Салазкин. Кинтель задавил в себе стеснительное сопротивление и тоже поднял ладонь.

Первой Кирилл Георгиевич вызвал девицу. Та уверенно сообщила, что упомянутых выше мореплавателей звали Лазарев и Беллинсгаузен. Салазкин выдал короткий звонкий смешок. Мама, сидевшая рядом, дернула его за свитер. Кирилл Георгиевич с вежливой улыбкой развел руками: неверно, мол.

— Теперь ты, мальчик...

Кинтель неловко встал. Сказал, глядя на горизонт:

— Крузенштерн и Лисянский...



— Совершенно верно! Кто-нибудь хочет что-то добавить?

Салазкин вскочил:

— На шлюпках «Надежда» и «Нева»!

— Чудесно!.. А у тебя тоже дополнение?

Костя с прыщиками снисходительно объяснил, что экспедиция началась в тысяча восемьсот третьем году и закончилась в тысяча восемьсот шестом. Считать же первым русским кругосветным мореплавателем справедливо будет Лисянского, поскольку он опередил Крузенштерна на две недели.

«Образованный», — сердито подумал Кинтель и добавил:

— После того, как они расстались на траверзе мыса Доброй надежды... — Он нарочно ввернул это «на траверзе».

— Там был туман, и они потеряли друг друга, — сказал Салазкин. Все заплодировали. А Кирилл Георгиевич, пощептавшись с мамой-активисткой и ветераном, объявил, что Саня Денисов, Костя Бельский и («Мальчик, как тебя зовут?..») Даня Рафалов получают по пять очков.

— А Лазарев и Беллинсгаузен открыли Антарктиду, — неожиданно для себя сказал Кинтель.

— Bravo! — обрадовался Кирилл Георгиевич.

— На шлюпах «Восток» и «Мирный», — ввинтился звонким голосом Салазкин.

— Это было в тысяча восемьсот двадцатом году, — спокойно, почти с зевком уточнил Костя. — Впрочем, за рубежом не все ученые признают приоритет Беллинсгаузена и Лазарева в открытии шестой части света.

— Великолепно! У вас еще по два очка! — радовался Кирилл Георгиевич. А оскандалившаяся девица розовела и хихикала в ладошки.

— Итак, три человека проявили недюжинные познания в истории морских путешествий! А сейчас задачка из другой области. Кто скажет, что такое «рангоут»?

— Это... насколько я понимаю, нечто связанное с теорией судна, — без прежней уверенности проговорил Костя Бельский.

«Нечто», — хмыкнул про себя Кинтель. И почти перестал стесняться:

— Это все мачты, реи. На чем ставят паруса... Да, еще бушприт...

— У бушприта есть два продолжения: углегарь и бом-углегарь, — прозвенел Салазкин.

Кинтель глянул на него искоса. И вспомнил:

— Рангоут поддерживается и управляется талкажем. Стоячим и бегучим. Это всякие тросы и канаты...

— Рангоут бывает подвижным и неподвижным, — уверенно сообщил Салазкин. — Подвижный — тот, что ходит вместе с парусами. Реи, гафели, гики...

Что-то запрыгало в памяти у Кинтеля: кажется, из словаря в конце книжки «Жизнь моряка».

— Они крепятся к мачтам на бейфутах. На таких специальных шарнирах...

Все неожиданно притихли при этом словесном турнире. Салазкин отодвинул от мамы локоть, за который она машинально его теребила. Сказал на весь салон:

— Ну, не дергай, пожалуйста. Подумают, что ты подсказываешь... — Никто не успел засмеяться. Потому что сразу Салазкин сообщил: — Сейчас рангоут делают металлический, из труб. А раньше делали из деревьев, из прямых стволов. Потому он так и называется — «круглое дерево» в переводе на русский.

— Это с голландского, — быстро подключился Кинтель. Он теперь все больше ощущал волнующую дрожь состязания. — Потому что Петр Первый учился строить корабли в Голландии. Он там многое перенял...

— Уникальные дети! — восхитился Кирилл Георгиевич. — И глянул на Костю. Тот развел руками:

— Я — пас... Здесь специалисты.

Кирилл Георгиевич обрадованно заметил, что, судя по всему, никто больше не решается вступить в этот поединок морских эрудитов. Таким образом, выявились два лидера.

— Попросим вас вот сюда, рядом со мной, чтобы вы могли демонстрировать свои знания перед лицом всей аудитории.

Кинтелю не хотелось «перед лицом аудитории». Но делать нечего, тем более, что Салазкин уже уверенно покачивался на своих тонких ножках рядом с пианино. Словно опять собрался петь. Кинтель стал у другого края инструмента, прислонился локтем. Опять стал смотреть над головами сквозь стекла. Ну, прямо правдешнее море...

— Итак, два претендента на приз! Саня Денисов из Краснодарержинска и Даня Рафалов... откуда?

— Тоже... — буркнул Кинтель. И поймал взгляд Салазкина. Удивленно-обрадованный.

— Тоже из Краснодарержинска?! — возликовал Кирилл Георгиевич. — Изумительно! Однако у вас, кажется, совсем не морской город?

— У нас озеро есть большое. Называется Орловское, — разъяснил Салазкин. — И на нем яхты...

— И на гербе кораблик, — нахмуренно добавил Кинтель, словно заступаясь за свой город. — Раньше по реке Соже корабли до самого моря ходили...

— Тогда ясно!.. Значит, продолжаем? А все остальные будут болеть...

Кинтель понимал, что болеть будут за Салазкина: он младше, симпатичнее, держится раскованно. Такие всегда нравятся. Будь Кинтель среди зрителей, он тоже сочувствовал бы этому пацаненку с зелеными глазами и доверчивой улыбкой, а не стриженному ежиком, набыченному мальчишке, который смотрит мимо людей... Ну и пусть. Ни зависти, ни обиды у Кинтеля не было. Досадовать он мог бы на равного по силам и возрасту или на того, кто больше. А тут чего ж... Впрочем, уступать Кинтель не собирался.

И не уступал. Очки они с Салазкиным набирали поровну.

Вопросы были всякие. То с пустяковой хитростью: «Что такое бухта?» (Кинтель и Салазкин разом ответили, что, во-первых, — небольшой залив, а во-вторых, — моток троса). То посложнее: «Откуда взялось в обозначении скорости судна понятие «узел»? Кинтель вспомнил, что раньше узлами разбивали шнур на приборе для измерения скорости, на лаге. Салазкин рассказал в дополнение к этому, как устроен старинный лаг. Кинтель добавил, что сейчас лаги другие: механические, электронные...

Ну, и так далее. Слушатели в салоне то затихали, то аплодировали. Надо сказать, что не только Сане Денисову... Очков набралось уже по полсотни на каждого.

— Ну, и наконец последний вопрос! На знание типов парусных кораблей... Чем бриг отличается от фрегата?

Это был пустяковый вопрос для всякого, кто внимательно читал книжки про моряков.

— У брига две мачты, — быстро сказал Кинтель. — А у фрегата три или даже больше. У того и у другого прямые паруса на всех мачтах. На реях...

Салазкин, конечно, не отстал. Смело поправил Кирилла Георгиевича: бриг, мол, неправильно называть кораблем, надо говорить «судно». Кораблями в парусном флоте называются только суда с оснасткой фрегатов, то есть с полным корабельным парусным вооружением.

И вдруг добавил:

— А среди бригаов самый знаменитый «Меркурий». Он дрался с двумя турецкими линейными кораблями и вышел победителем...

— Чудесно! — даже подскочил Кирилл Георгиевич. — Прекрасное дополнение. Действительно, бриг «Меркурий» совершил подвиг, доказав, что русские моряки ни при каких обстоятельствах не сдаются врагу!..

Кинтель даже качнулся вперед. Потому что вот тут-то можно было выложить факт о «Рафале». Как козырную карту! Нет, мол, товарищи, бывало, что сдавались. Не все такие герои, как

на «Меркурии». Есть грустное отличие *фрегата* «Рафаил» от *брига* «Меркурий». Но... открыл Кинтель рот и захлопнул. Покачал головой. Словно встретился с живым взглядом измученного худого офицера в старинном мундире — капитана Стройникова: не надо, мне и так хватило позора... И предок Иван Гаврилов будто издалека глянул укоризненно. Знание о чем-то стыде и несчастье — разве козырь?

Впрочем, обдумал это Кинтель уже потом, а пока его просто задержало внутреннее «нельзя». И еще — снова такое чувство, словно он тоже виноват в сдаче «Рафаила».

— У тебя, Дня, нет добавлений?.. Ну, что же, тогда жюри посовещается и вынесет решение, — Кирилл Георгиевич нагнулся над сидящим рядом старичком с орденскими планками и мамой-активисткой. Какое будет решение, не стоило и гадать. В шаге от пианино висела широкая портьера. Пока все смотрели на жюри и на Салазкина — явно как на победителя, Кинтель придвинулся к портьере спиной, скользнул за нее, а там — к двери. И оказался в коридоре, у ведущего на верхнюю палубу трапа.

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

Наверху было ветрено, зябко, особенно после уютного салона. Ветер, однако, дул теперь с востока, с кормы, и Кинтель укрылся от него за трубой. Труба эта — громадная, скошенная назад, с голубой полосой, медным серпом и молотом и черными крыльями — поднималась над палубой, как дом. Впереди была привинчена скамейка, и Кинтель сбежело сел, подняв до ушей воротник школьной курточки.

Большого огорчения Кинтель не чувствовал. Если бы, кто другой, не Саня Денисов, выиграл приз, тогда обидно. А Салазкин пусть порадуется вместе с мамой... Но была у Кинтеля печаль. Не из-за проигрыша даже, а так, без всякой причины. Однако горечи в печали не ощущалось. Даже наоборот — приятное что-то. Как при музыке, которую играла однажды на улице Первомайской девочка-скрипачка.

Когда Кинтелю было грустно без причины, он всегда вспоминал эту музыку. И девочку, которая от музыки была неотделима.

...Кинтель увидел маленькую скрипачку в последний день прошлого года августа, когда шагал на рынок за картошкой. Сперва он услышал музыку. У забора заброшенной стройки полукольцом стояли ребята и взрослые, человек пятнадцать. А на фоне темных и рваных афиш играла на скрипке девочка. Одного с Кинтелем возраста.

Она была тоненькая, курносая, с короткими и растрепанными, как у мальчишки, волосами. И с искорками-сережками в маленьких коричневых ушах. И очень загорелая. На ней была желтая майка и белые шортики. От этого девчонкины ноги казались еще больше загорелыми. Они были того же цвета, как скрипка, которую девочка прижимала к подбородку. Она покачивалась на ногах, как на стебельках, задумчиво смотрела мимо людей и водила смычком.

У ног девочки, в пыльных подорожниках, лежал скрипичный футляр, в откинутой крышке его белел бумажный лист. На нем крупно было написано: «Зарабатываю на скрипку».

Наверно, нынешняя скрипка у девочки была чужая. Или не очень хорошая. Но даже на ней девочка играла восхитительно. По крайней мере Кинтеля печальная и светлая музыка взяла в плен сразу же. И сама девочка — тоже. Кинтель смотрел на юную скрипачку, и сердце у него заходило в сладкой тоске. Было что-то удивительно милое и знакомое, только полузабытое, в этой скрипичной мелодии и в том, кто ее играл — в быстрых тонких пальцах, в дрожании волос и сережек, в задумчивых глазах и строгих бровях над облупленной переносицей, в подсохших корочках ссадин на коленках (в точности как у Кинтеля). И еще была в ней доверчивая беззащитность и одиночество, несмотря на окружающих людей.

Люди слушали внимательно, лишь изредка что-то шептали друг другу. В скрипичном футляре лежало уже немало мятых рублей и трешек.

У Кинтеля в кармане была лишь пятирублевка, которую дал дед и которую можно было тратить только на картошку. А будь у него свои деньги — хоть сто рублей! — он тут же выложил бы их в футляр, к ногам девочки. Хотя... посмел бы он? Все сразу начали бы глядеть на него. И она посмотрела бы — на неловкого, стриженного арестантским ежиком, в мятой, узлом на пузе завязанной рубашке... Он и так уже стоит здесь, наверно, полчаса, и все, конечно, догадались о его завороченности...

Кинтель попятился, чувствуя, как наливаются теплотой уши и щеки. И пошел, пошел, не решаясь оглянуться. И долго еще слышал скрипку...

Обратно он шагал по другой стороне улицы. Девочка все еще играла. И снова ту мелодию, которую Кинтель услышал вначале. Страдая от стыдливой боязливости, Кинтель все же подошел опять, постоял за спинами, страшась, что девочка увидит его... Потом побрел домой, унося в душе что-то теплое, щемящее, доселе неизвестное...

Днем Кинтель, не в силах носить в себе переживания, поделился на улице с компанией. Сказал небрежным тоном:

— Утром за картошкой поперся, гляжу: у за-

бора пацанка со скрипкой. Так клево пилит по струнам. Все стоят, рты поразевали, тугрики ей бросают... И, главное, одна, не боится...

— Ха, одна, — отозвался опытный Джула. — Ты ее попробуй задень, сразу со всех сторон амбалы выскочат! У них небось артель: она денюгу на всю кодлу зашибает, а они ей это... режим наибольшего благоприятства... Знаем мы таких девочек со скрипками...

Тут бы и врезать этому длинному трепачу по слюнявым губам. И Кинтель врезал бы, не думая, что будет после! Но только... Да нет, не за себя он испугался! Но ведь когда начнут издеваться, ехидничать про его любовь, эти поганые насмешки будут и про девочку! Конечно, она не узнает, но все равно получится, будто он подставил ее под помой. Это как предательство.

Ненавидя себя, Кинтель сплюнул и лениво сказал:

— Тебе, Джула, везде амбалы мерещатся. Только и знаешь про мафию чесать языком.

Все заспорили про мафию и о девочке забыли.

В следующие дни Кинтель не раз ходил на то самое место, к забору у стройки. Но девочки там не было. Оно и понятно: время-то началось школьное. А может быть, она уже насобирала на скрипку? Нет, наверняка она появится в воскресенье!

Подлое, непрошеное подозрение о том, что Джула насчет этой девчонки, возможно, прав, Кинтель буквально выжег в себе, без остатка. И решил ждать. Но воскресенье оказалось промозглым, пришла настоящая осень. Ясно, что при такой погоде размокла бы любая скрипка. Что было делать? Где искать маленькую скрипачку? Да и... зачем? Найдешь, увидишь, а что дальше?

И девочка со скрипкой осталась в памяти, как что-то волшебное, полусон какой-то или сказка о Дюймовочке. И музыка осталась, запомнилась. Иногда Кинтель насвистывал или мурлыкал ее, и однажды это услышал дед.

— О, да у тебя слух, как у музыканта!

— Почему? — застеснялся Кинтель.

— Такую мелодию ведешь без всякой фальши.

— А что за мелодия? — у Кинтеля, как тогда, при девочке, затеплели уши. — Я не знаю даже. Случайно вспомнилась...

— Это скрипичный романс Шостаковича из фильма «Овод».

...В минуты, когда подкрадывалось задумчивое настроение, печаль какая-нибудь, «Овод» начал звучать в Кинтеле тихо, ненавязчиво, в лад со струнами души.

Вот и сейчас мелодия накатывала, как бегущие по Ладоге пологие волны, которые не спеша догонял и подминал под себя «Михаил Кутузов».

Но вскоре в эту музыку скрипки толкнулся другой мотив — тревожной непрошеной ноткой: «Над волнами нам плыть, по дорогам шагать... Штормовые рассветы встречать...» Это было связано с Салазкиным! И Кинтель интуитивно угадал, что Салазкин неподалеку. И лишь потом услышал шаги.

Салазкин встал рядом со скамейкой. Кинтель покосился. В руках Салазкина была плоская коробка с парусным кораблем на крышке.

До той минуты они друг с другом не разговаривали, но тут Салазкин сказал, будто давнему знакомому:

— Даня, ты почему ушел раньше срока?

Кинтель ответил ровно, даже с зевком, чтобы Салазкин не пришло в голову, будто он обижен или переживает:

— Почему раньше срока? Все ведь кончилось...

— А при...

Кинтель снисходительно улыбнулся:

— Но не я же победил.

Салазкин сказал убежденно:

— По-моему, мы оба одинаково победили. Надо, чтобы справедливо... Давай делить. — Он сел на краю скамейки, положил коробку между собой и Кинтелем, поднял крышку. В коробке лежали фигурные шоколадные конфеты. — Тебе и мне пополам.

— Да ну... — смутился Кинтель.

— Нет уж, ты бери, пожалуйста! — Салазкин смотрел решительно.

«Хороший он человек», — подумал Кинтель. Взял конфету, сунул в рот.

— Нужно вот так! — Салазкин принялся перегружать половину шоколадного запаса в крышку.

— Пстой! Мне не надо! — почти испугался Кинтель. — Я много шоколада никогда не ем... То есть, не ел. Даже когда он в магазинах был. У меня от него... это, аллергия.

Аллергии у Кинтеля не бывало, но шоколад он правда не очень любил и не жалел, что теперь его не бывает в продаже. Потому что как можно помногу есть такую вяжущую рот и горло горьковатую сладость! Это ведь не мороженое...

— Ну, правда тебе говорю! — добавил он, глядя в недоверчивые глаза Салазкина. — Забери обратно. — Пересыпал конфеты опять в коробку. И вдруг пришло в голову: — А крышку я возьму... если можно. Ладно?

— Конечно! — обрадовался Салазкин. Разумеется, не вернувшись конфетам, а тому, что Даня Рафалов хоть что-то берет.

Кинтель сказал:

— Хороший корабль. Я его в рамку вставляю и на стену...

— Это «Паллада». Видишь, здесь написано...

Внизу были буковки: «Шоколадное ассорти «Фрегат «Паллада»».

«Фрегат», — опять царапнуло Кинтеля. Но он подавил в себе неприятные мысли.

Салазкин сел попрочнее: привалился к спинке, пятки поставил на скамью. Тоже сунул в рот конфету. Сказал доверчиво:

— А славно получилось, что мы из одного города, правда ведь?

Кинтель кивнул, облизываясь.

— Ты там где живешь?

Саня Денисов тоже облизал губы.

— На окраине, в Старосадском поселке. Но папе обещают скоро дать новую квартиру... Мама уже вещи понемногу упаковывает, она очень предусмотрительная...

Кинтеля вдруг дернуло за язык:

— Это мама посоветовала тебе поделиться конфетами?

И сразу испугался: обидится Салазкин!

Тот не обиделся, но удивленно раскрыл глаза.

— Нет, с чего ты взял! Я сам... Мама даже не знает, куда я пошел.

— Значит, будет искать и волноваться, — выкрутился Кинтель из неловкого положения. — Родители, они все такие.

— И у тебя? — с пониманием спросил Салазкин. Кинтель вздохнул:

— Я, к счастью, с дедом...

Салазкин отвел глаза. Взял еще конфету. Стал ковырять на обтянутой черным трикотажем коленке аккуратную штопку. «Мама зашила», — подумал Кинтель. И усмехнулся:

— Но если бы я, как ты недавно, на бревна полез, он бы тоже бегал внизу и... — Кинтель чуть не сказал «кудахтал». — И нервничал.

Салазкин кивнул, все ковыряя штопку.

— Мама ужасно беспокойная. Стоит мне задержаться на улице, как дома паника... Но сейчас, пока она не хватилась, можно еще посидеть! — И повозился, устраиваясь поудобнее.

Посидели, помолчали. Пасмурная Ладога все катила, катила валы, реяли чайки. Нельзя сказать, что покачивало, но иногда все же возникало ощущение непрочности. Этакий намек на невесомость.

— Ну, право, совсем как на море, — вдруг сказал Салазкин. Он все-таки расковырял штопку, и светилась круглая, словно двуривенная, дырка. Из нее выглядывала выпуклая родинка. Салазкин тер ее мизинцем, предварительно облизав его. «Опять зарабатываешь от матери шлепка», — подумал Кинтель. А вслух сказал:

— Я на море еще не бывал.

— А я был два раза. И могу авторитетно утверждать, что очень похоже... — Он, видимо, сам почуял, с какой забавной солидностью у него это прозвучало, и хихикнул. Кинтель сказал:

— В морских делах ты прямо академик. Занимался в каком-то кружке, да?

— Видишь ли... это не совсем кружок... Это...

— Санки! Салазкин! Вот ты где... Ну, что за мода исчезать бесследно, как приведение... — Мама Сани Денисова появилась из-за трубы. — Идем, скоро ужин!.. И какой здесь холод...

Салазкин встал. Сказал Кинтелю вполголоса:

— Мы ведь еще непременно увидимся.

— Разумеется. У нас две недели впереди, — в тон ему ответил Кинтель и опять улыбнулся про себя, но без насмешки, по-хорошему.

Мама Салазкина тревожилась:

— Вы оба, наверно, простудились. Мальчик, тебе не холодно?

— Это Даня Рафалов, с которым мы там, вместе... — ревниво сказал Салазкин.

— Да-да, я вижу. Даня, вы оба продрогли.

— Я сию минуту тоже иду в каюту, — отозвался Кинтель, как покладистый скромный мальчик. Так и пошли: впереди мама, за ней Салазкин с открытой коробкой, как с подносом, сзади Кинтель, он шагал и хлопал себя «Палладой» по джинсовым штанинам.

В каюте дед сказал:

— Тут тебе приз принесли. Говорят, ты второе место занял в этом «Клубе знаменитых капитанов»

Приз оказался набором вымпелов с гербами городов, где побывали и еще должны были побывать пассажиры «Кутузова». Что ж, совсем не плохо! Даже лучше конфет...

— А чемпион мне вот что подарил, — похвастался Кинтель крышкой. — От своего ассорти.

— Красивая штука, — одобрил дед. — А про «Палладу» ты что-нибудь слышал?

— Книжка такая есть. Только скучная очень. Я начинал...

— Эх ты, «скучная»... «Паллада» — корабль знаменитый. Кстати, в молодости им одно время Нахимов командовал, будущий адмирал... — И Толич вдруг осекся. Сообразил, что не надо бы лишний раз о Нахимове. Кинтель, однако, сделал вид, что ничего не заметил. Стал рассматривать разложенные на постели вымпелы. Потомглянул в окно. У горизонта облака разошлись, в щель пробился солнечный огонь. Похоже на закат, хотя по времени до заката было далеко: лето, север, белые ночи...

«Бьется пламя под крыльями туч...»

Когда они познакомятся поближе, надо будет спросить у Салазкина, откуда эта песня... Как не вовремя появилась его мамаша: даже не успел он объяснить, где набрался морских знаний. Ну, ничего, все впереди. Конечно, Салазкин — еще малец и при нем чувствуешь себя, как рядом с чем-то хрупким. Но есть в нем и... такое, совсем

не детское. По крайней мере ясно: поговорить с ним можно о вещах, которые с «достоевской» компанией обсуждать бесполезно...

Дед озабоченно глянул на часы.

— На ужин пора. И надо лечь пораньше, завтра в пять утра будем входить в Неву. Не проспать бы Шлиссельбург...

Шлиссельбург они проспали. Впрочем, не беда, увидят на обратном пути. В полдень подошли к речному вокзалу Ленинграда. От экскурсий с группами Толич и Кинтель отказались, решили гулять сами. И за два дня стоянки повидали столько, что ни с какими экскурсоводами такого не успели бы. Прежде всего поехали к морскому вокзалу. Туда, где швартуются приходящие со всех морей и океанов теплоходы и где виден открытый горизонт залива. Потом отправились на пассажирском катере в Петергоф — еще ближе к морю. Правда, залив (именуемый, как известно, Маркизовой лужей) был более серым и спокойным, чем Ладога. Но само сознание, что это Балтика, волновало душу Кинтеля.

А потом были, конечно, музеи. Петропавловская крепость, долгое хождение по многим улицам, площадям, набережным. Но Кинтель нет-нет да и вспоминал Салазкина. Однако в эти дни он его не видел — ни на улицах, ни вечером на теплоходе. Впрочем, это Кинтеля мало тревожило. Но зато он забеспокоился всерьез, когда отошли от ленинградского причала, а Денисовых по-прежнему нигде не было видно. Ни в ресторане, за ужином, ни в коридоре, ни на палубах...

И утром — то же самое. После завтрака Кинтель не выдержал, набрался смелости и постучал в дверь Денисовской каюты. Никто не отозвался. Кинтель наконец поделился тревогой с дедом: куда, мол, девался мой соперник по морскому турниру? Виктор Анатольевич навед справки. Оказалось, Денисовы остались в Ленинграде. Обещали догнать «Кутузова» в Петрозаводске. Кинтель слегка успокоился.

Но в Петрозаводске Денисовы не появились. То ли что-то случилось, то ли решили путешествовать другим путем. Тем более, что чемоданы они предусмотрительно прихватили с собой.

Кинтель запечалился, но путешествие было такое, что для долгой грусти не оставалось времени. Столько всего каждый день: Валаам, Кижы, потом всякие города... Дома Кинтелю долго еще снились высокие берега, меденные великанские ворота и осклизлый бетон шлюзов, монастыри и крепости, не отстающие от теплохода чайки и стоящие над широкой водой печальные колокольни затопленных церквей...

Кинтель даже стал думать, что неплохо бы так жить всегда. Вроде бы в доме, под крышей и в то же время — в постоянном путешествии.

Только надо, чтобы судно было не таким громадным. Пускай вроде того древнего колесного парохода, который Кинтель видел у какого-то заброшенного причала. Был бы неторопливый, но уютный, добрый такой кораблик. И чтобы подобрались на нем хорошие люди — и взрослые, и ребята. Разные, но все такие, кто никогда не обижает друг друга и от кого не слышишь: «Ну че, блин, пасть разинул, будто форточку, шевели ходулями» (это если, например, зазевался в проходе у школьной раздевалки) и при которых не надо все время держать себя готовым к отпору.

Взять бы на пароход ту девочку со скрипкой. Салазкина. Деда. Регишку... Набрать бы дружный экипаж — и в путь. Пусть шлепает колесами по всем рекам и озерам пароход под названием «Трубач». И не обязательно просто так плавать, можно делом заняться, грузы возить!

Этот пароход тоже иногда снился Кинтелю.

Салазкина Кинтель вспоминал, но ни разу не встретил. Город-то вон какой громадный. Старосадский поселок у черта на рогах... Сделать рамку для «Паллады» Кинтель так и не собрался. Сунул карточку на полку, между книг.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ



Виталий ВОЛОВИЧ



«Старый Таллинн»

Из цикла работ

«Переспавль-Залесский»



«Женщины и монстры»

ВЕРНИСАЖ
«Уральского следопыта»

Виталий ВОЛОВИЧ



«Старый Таллинн»

Из цикла работ



«Переславль-Залесский»

«Женщины и монстры»

ВЕРНИСАЖ
«Уральского следопыта»



...Заслуженный художник России 64-летний екатеринбуржец Виталий Волович — неоднократный лауреат отечественных и зарубежных конкурсов книги, его работы представлены в Музее изобразительных искусств имени Пушкина и Третьякова, Пражской национальной галерее и музее И.В.Гете в Веймаре, других почтенных собраниях, не считая множества частных коллекций в разных странах мира. В его творческой биографии — участие почти в двух десятках серьезных выставок и 15 персональных. Но даже для поклонников и знатоков, не говоря уже о более широкой публике, прошедшая нынешней зимой в Екатеринбурге очередная стала если не откровением, то ярчайшим впечатлением наверняка. Больше полутора сотен работ, выполненных в разной технике, шесть серий, самая большая из которых, «Женщины и монстры», содержит около 40 листов. Причудливый мир трагичных фантазий на тему «Орестей» Эсхила, жутковатых и одновременно веселых «Средневековых мистерий», воздушного «Цирка», чудещ-монстров, неотвратимо преследующих рубенсовских женщин (или вернее — женщин, не отпускающих монстров от себя!), а рядом с этим — экспрессия красок старого Таллина, приглушенно-светлый русский город Переславль-Залесский...

Небольшую часть выставки — что удалось разместить в журнале — смотрите на вкладке. Но и слова иногда помогают кое в чем разобраться. Тем более, слова мастера, имеющего за плечами долгий, непростой творческий и человеческий опыт. К тому же — одного из тех, кто стоял у истоков «Уральского следопыта»...

Виталий ВОЛОВИЧ: "В СУЩНОСТИ, ДЛЯ ХУДОЖНИКА МАЛО ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ..."

— Виталий Михайлович, самое первое чувство, которое посетило меня на вашей выставке — белая зависть к человеку, продолжающему свое дело, несмотря ни на что. Меняются времена, правительства, меняются люди, все чаще изменяя своему призванию, профессии. Происходят потрясающие метаморфозы: классные врачи вдруг начинают варить пиво, учителя превращаются в брокеров, недавно я видел хорошего пианиста за прилавком «кофка»... Конечно, это крайности, но вы-то, похоже, не сделали ни шажка в сторону хотя бы относительной конъюнктуры, «рыночности». Как выживаете вы в наши бурные дни!

— Знаете, художники нынче тоже вынуждены либо становиться коммерсантами, либо искать себе какую-то финансовую опору. Одному в этой жизни сейчас крайне сложно, хотя и достаточно интересно. Ведь среди многих опасностей, подстерегающих художника, перед ним встает и опасность полного исчезновения работ, безвозвратного их «растворения» в частных коллекциях. Раньше покупали государственные галереи, музеи — теперь у них почти нет средств. Все идет в частные руки. В результате очень может стать так, что к концу жизни художник вроде бы и ничего не сделал ни для себя, ни для людей. Из такого положения существуют разные выходы. Один, найдя в себе соответствующие качества, самому налаживать деловые связи, заключать контракты, и так далее... Я в себе таких качеств не нахожу. Второй путь — объединиться с кем-нибудь в группу, как делают некоторые, пригласить своего юриста, что тоже хлопотно и сложно. Ну а третий — на определенных условиях доверить кому-то свои дела. Это я и предпочел. Есть в Екатеринбурге акционерная компания «Эстер». Три года назад они организовали первую художественную выставку из

работ, приобретенных во многих городах Урала, и с тех пор возникло и продолжается наше сотрудничество. «Эстер» имеет хорошие связи с Австрией, периодически посылает туда художников. Александр Алексеев и я благодаря фирме были в Вене. Екатеринбургцы Метелев, Антонов и Брюханов из Нижнего Тагила — в Фельдкирхе. В Вене у нас с Алексеевым была небольшая выставка из того, что мы там успели сделать, а в Фельдкирхе открылся вернисаж тринадцати екатеринбургских художников, который, говорят, пользовался успехом. И самое примечательное — при помощи, или даже целиком за счет «Эстер», был издан каталог выставки. То есть фирма не только соблюла свой коммерческий интерес, но и как бы проявила заботу о престиже художников, добротной рекламе их труда, что очень важно. «Эстер» — раньше оговоренных взаимных обязательств — организовала и мою нынешнюю выставку.

— Что ж, это замечательно, когда обязательства друг перед другом в отношениях между спонсором и мастером устраивают обоих. Побольше бы таких коммерсантов... Но давайте перейдем к главному. Кроме надоевших денежных обстоятельств, хотим мы того или нет, трансформируются наши взгляды, чувства, общая атмосфера вокруг... Делить путь творца на этапы — прерогатива прежде всего искусствоведов, зрителей, и все же: как вы, художник, ощущаете на себе влияние времени!

— Конечно, оно заставляет делать какие-то переоценки — от этого никому не денешься. Но дело в том, что я не был чрезмерно зависим и от того времени, которое теперь принято называть застоем. У меня была своя внутренняя программа, я имел возможность заниматься книжной графикой,



**ХУДОЖНИК
РАЗВИВАЕТСЯ
ПО СЛОЖНЫМ
ВНУТРЕННИМ ЗАКОНАМ.
ОН ВЫНУЖДЕН РАБОТАТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ДЛЯ САМОГО СЕБЯ.
ПОТОМУ ЧТО
ТОЛЬКО РАБОТА,
СДЕЛАННАЯ ДЛЯ СЕБЯ,
МОЖЕТ БЫТЬ
ЕЩЕ КОМУ-ТО ИНТЕРЕСНА...**

далекой от конъюнктуры... Правда, климат, в котором мы все существовали, рождавший потребность в конфронтации с официальной идеологией, заставлял быть более тенденциозным в каких-то проявлениях. Без сомнения, особый интерес к проблемам насилия, добра, зла, власти был продиктован некоей оппозиционной идеей. А сейчас эта идея как бы потеряла значение. И в этом смысле время для меня изменилось. Я перестал делать такие активно тенденциозные вещи, как, предположим, иллюстрации к шекспировскому «Ричарду III», Бертольду Брехту... Настала пора большего внимания непосредственно к форме, потому что часто

желание высказаться против зла, насилия, определенных обстоятельств мешало сосредоточиться на проблемах собственно эстетики. Помните, у режиссера Любимова был спектакль по булгаковскому «Мольеру», где Любимов, игравший Мольера, кричал со смертельного одра: «Я ненавижу короля, который запрещает мне ставить свои пьесы!»? Тогда это производило впечатление необычайной смелости, дерзости поступка. Очень многие из нас были помешаны на пафосе такого вот сопротивления. А сейчас эта фраза сама по себе ровным счетом ничего бы не значила. Имело бы значение другое — как произнес ее актер, насколько она психологически обоснована. Социальный накал исчез. Вот и я, отчасти в некоторой растерянности, обратился к теме традиционной и лежащей вне политики — «Женщины и монстры». То есть я занимался ею и раньше, еще в 60-х годах начинал серию «Языческие мифы». Но теперь, вернувшись к ней, решил сделать ее в цвете, сконцентрироваться не столько на смысловых категориях, сколько на организации листа, системе взаимоотношений формы и пространства, — словом, на чисто эстетических проблемах.

— Я, и не, только я, обратил внимание, что монстры у вас получаются скорее печальные, чем агрессивные. Агрессия как-то больше исходит от женщины. Было ли так всегда, или эротические отношения тоже, с вашей точки зрения, претерпели перемены!

— Ну, у меня все не слишком всерьез — скорее игра, мистерия. Хотя эротические, или, скажем мягче, фивольные мотивы всегда присутствовали в творчестве самых разных художников. Только от нас долгое время это было скрыто. Мы знали лишь самые классические примеры вроде Рубенса и Буше и не подозревали о существовании, предположим, Роппса, или Бориса Григорьева, занимавшихся непосредственно эротической темой. Эротика — значительная часть общечеловеческой культуры, без которой она была бы менее интересной, не полной, даже ущербной. Впрочем, я далек от мысли, что занимаюсь «чистой» эротикой. Просто делаю нечто более свободное, чем раньше. Это привлекает меня в плане расширения пластических возможностей. Это и мне интересно и, кажется, любопытно зрителю, что приятно...

Художник развивается по сложным внутренним законам. Он вынужден работать прежде всего для самого себя. Потому что только работа, сделанная для себя, может быть еще кому-то ин-

тересна. В этом смысле художник — абсолютный эгоист. Конечно, ему всегда угрожает трагедия непонятости, творческого одиночества. И все равно, выбора нет, нет другого пути. Иначе ты обречен на имитацию, на подделку под кого-то другого, а это — ложный путь, даже если подделка эффектна.

Вероятно, у меня начинается счастливый период. Мне не надо в силу возраста и определенной творческой реализованности доказывать свою состоятельность. Мне бы хотелось прислушаться к себе, попробовать новые возможности, если они для меня существуют. Мне бы хотелось глубже заняться проблемами формы, стать свободнее, раскованнее...

— Дай Бог вам сил — и физических, и творческих. Хорошо бы увидеть не один еще ваш вернисаж. Но Виталий Михайлович, вот что кажется странным и где-то даже несправедливым. На выставке, при всем ее разнообразии, довольно мало чисто «книжных» работ. И свои планы, насколько я понял, вы строите в основном вокруг станковой графики, более или менее крупных форм. Но ведь начинали вы и утверждались главным образом как график книжный, став одним из ведущих мастеров этого жанра в стране. Ваши «Эгмонт», «Слово о полку Игореве», «Шотландская баллада», «Исландские саги» теперь едва ли не классические образцы книжных иллюстраций. Кстати, и наш журнал, отмечающий свое 35-летие, вспоминает вас добрым словом. Неужели это все в прошлом, оставлено, забыто!

— Ну, забыть такое невозможно. Хорошо помню, как увлеченно работали мы над первыми номерами «Уральского следопыта». Главным редактором его был тогда Вадим Очеретин. Это он предложил нам с Германом Перебатовым войти в редколлегия. Мы разработывали проект оформления, обсуждали и принимали отдельно каждую обложку, каждую иллюстрацию. Все это было крайне интересно, необычно. Сейчас журнальная графика, похоже, дело второстепенное, а тогда художники проявляли к ней большой интерес. Да и обстановка в редакции была удивительно творческой, существовало настоящее братство журналистов, писателей, художников. Правда, закончилась наша с Германом «следопытская» карьера печально. В Союзе художников началась кампания «борьбы с формализмом», нам приклеили этот ярлык, начали таскать по разным учреждениям и в конце концов из редколлегии вывели. Журнал, конечно,

тут ни при чем, виноваты тогдашние идеологические обстоятельства.

Что касается книг, то, если не считать того периода работы в Средне-Уральском книжном издательстве, когда, увы, пришлось переделать массу «дежурной работы», я проиллюстрировал их не так уж много. Но зато я работал над ними подолгу, добиваясь максимально точного результата. Работа над книгой увлекала меня, и мне не хотелось заниматься ничем другим. Надо сказать, что мне очень везло с полиграфией оформляемых мной книг — большинство издавалось на хорошей бумаге, предназначалось для показа на престижных выставках... А кроме того, книжная графика давала прекрасную возможность избежать многих цензурных рогаток, которые, конечно, касались иллюстраторов, но в значительно меньшей степени, чем «станковистов». Если я показывал станковую вещь, то я сам нес за нее ответственность, а если говорил, что это — иллюстрация к Брехту, или Шекспиру, хотя на самом деле выставлялась вполне моя, самостоятельная работа, — ответственность как бы перекладывалась на автора. Постепенно мы с друзьями выработали целую систему мистификаций. Началось с предложения из Лейпцига принять участие в выставке «Фигура», посвященной антифашистской литературе. Я придумал несколько листов, которые были важны мне и где речь шла не только о немецком фашизме. А потом, когда я их уже скомпоновал и приступил к работе, из ГДР последовало разъяснение: в основе должно быть конкретное литературное произведение. Я бросился к своему старому другу театроведу Якову Тубину с просьбой подсказать что-нибудь подходящее. Вскочил он предложил пьесу Брехта «Страх и отчаяние в Третьей Империи». Правда, в самой пьесе похожего на мои работы не оказалось, зато в начале и в конце каждого акта пелись зонги общего содержания, в которых, при желании, можно было найти все, что угодно. Я так и назвал серию — «По мотивам стихотворных вступлений и зонгов пьесы Бертольда Брехта «Страх и отчаяние в Третьей Империи». А дальше начались смешные вещи. На национальном выставочном в Москве отметили, как замечательно мне удалось уловить атмосферу пьесы Брехта. Мало того: потом пришел немецкий журнал «Bildende Kunst» с репродукцией и статьей, где тоже писалось, как глубоко я проник в характер брехтовской драматургии. Мы очень смеялись, но твердо поняли: это же прекрасный повод более широко выстав-

ляться в тех цензурных условиях! И пустились, как говорится, во все тяжкие...

— Однако, полагаю, это вовсе не означает, что вы никогда внимательно не трудились над текстами.

— Конечно, нет. «Сагами», «Ричардом III», «Отелло» и другими крупными вещами я занимался очень внимательно. Мне нравилось искать новые оттенки интерпретации произведения, проследить их связь с современностью. Да и сам процесс делания книги, ее выход всегда связан со многими волнующими моментами. Это была увлекательная, любимая мной сфера деятельности, я бы и теперь к ней с удовольствием вернулся. Но... Книги у нас все чаще выходят без иллюстраций, тяготеют все больше к усредненному западному образцу: яркая, красивая обложка, а внутри не столь уж и важно, что. Вообще, сейчас, подуспокоившись от сплошных проклятий в адрес уходящей эпохи, при всей неприязни к ней, надо признать: имелося в ней и существенные плюсы. Уровень книжного оформления был тогда весьма высок...

— В Европе отлично изданная книга стоит целое состояние. Вероятно, настоящая культура книги, если и вернется с окончательным разделением общества на имущих и остальных, то уже в недоступной для большинства форме...

— Пожалуй, с вами можно согласиться. Но пусть вернется хоть в таком виде. Все-таки уровень культуры того, что издается в стране, определяет и общий уровень ее культуры. А пока у меня, например, нет ни одного книжного заказа. Жаль. Есть, правда, одна идея для издателей. В свое время я делал серию листов, посвященных Екатеринбург. Ценность ее состоит еще и в том, что многие дома, которые я писал, снесены — это уже история. И я мечтал бы найти людей, согласных взяться за издание альбома. Но на сегодняшний день желающих что-то не видно...

— Виталий Михайлович, и еще один вопрос — возвращаясь к началу нашего разговора, теме выживания в эпоху перемен. Скажите, может быть, можно дать людям какой-то совет с высоты вашего опыта — как в ней не потеряться, не обезличиться, не утратить своего «я», остаться самим собой? Мне кажется, это сегодня один из важнейших вопросов не только для интеллигенции, деятелей культуры — для представителей

большинства профессий, носителей настоящего мастерства — может быть, самого дорогого капитала страны.

— Художнику, думаю, в этом смысле и проще, и сложнее. Да, к сожалению, сейчас достаточно большое количество художников пытается переориентироваться на рынок. Но рынок — вещь очень сложная. На Западе он существует в огромном количестве вариантов, от громадного масскультовского до элитарного, доступного очень многим. И по-настоящему талантливый человек в стороне от него не останется, пробьется либо в элитарную галерею, поддерживающую этот уровень искусства, либо еще как-то. Наш так называемый рынок пока крайне примитивен, усреднен, никакой логики «вписывания» в него нет. И в принципе, перед художником встает та же самая дилемма, что во времена застоя. Знаете, я уже много раз вспоминал об этом, но повторяюсь, поскольку факт очень показательный для нынешней ситуации: в свое время мы с товарищами буквально упивались историей, произошедшей с французским живописцем Курбе. Ему, участнику Французской революции, много лет спустя был пожалован Орден почетного легиона, а он от него отказался, написав в письме министру изящных искусств известную фразу: «Государство лишь тогда выполнит свой долг перед искусством, когда оставит всякую заботу о нем». Нам казалось, вот — камень преткновения. Как только государство перестанет на нас давить, мы тут же освободимся. И вот — перестало. Ну и что? Тут же возникли сотни других зависимостей, не менее унижительных, чем прежние. Оказалось — абсолютной внешней свободы не существует, да и не существовало нигде и никогда. Возникла проблема: или ты начинаешь работать только на продажу, на потребу публике, и наступает творческая смерть, точно такая же, как и от выполнения идеологических требований, либо ищешь в себе мужество и прикладываешь огромные усилия, чтобы отстоять свои собственные позиции, защитить право на творческую свободу. В сущности, по самому большому счету, для художника мало что изменилось. Надо по-прежнему помнить о достоинстве... ■

Вел беседу
Андрей ПОНИЗОВКИН

**Венедикт
СТАНЦЕВ**

И БОЛЬ, И РАДОСТЬ...

НА ПОБЫВКЕ

Мой дом — на самой околице —
нацелил в зенит трубу.
Никаким тут богам не молятся,
ни знамени, ни гербу.

В домах — ни вождей, ни боженьки,
а если в окно — весна,
пропадают дороги в дожди,
как в скифские времена.

Спит солнце прямо под вишнями —
кончается здесь земля:
не докличешься до Всевышнего,
тем более — до Кремля.

Сосед — еще с детства — горбится:
прострелян в оба плеча, —
зовет меня в чистую горницу
испробовать первача.

Как стопка была раздавлена,
друг начал про давний бой:
«Не слышал я криков «За Сталина»,
слыхал только мат густой.

И я — знаток в выражениях —
такой тарарам давал,
и гром этот в гиблых сражениях
мне здорово помогал.

Что нынче стало с Россией,
как будто ведут сквозь строй;
ругаюсь в сто раз красивее,
а пользы нет никакой!..»

Придвинув редиски хрустящие,
я вклинил в эту речь:
«А кто еще может, как русские,
и молот держать и меч!..»

Деревню тьма занавесила,
чуть глеет луны свеча,
мне капельку грустно и весело
от крепкого первача.

Иду я домой околицей,
спит солнце в моем саду...
Никаким тут богам не молятся
ни в радости, ни в беду.

СТИХИ О БЕДСТВИИ

Мальчишки воробьям сродни —
и шустряки, и забияки.
Но сегодня, облепив плетни,
без игры обходятся и драки.

Прощались казаки с Хопра,
в бой оседлав коней покорных,
солнце накалялось от «ура»,
взрагивала рожь, роняя зерна.

Восторг был долог и горяч
в картинном изобилие конном.
Если же взвизвал женский плач,
он казался как бы незаконным.

И как в седую старину,
с той песней, что сложили деды,
казаки спешили на войну,
скорбно солнце торопилось следом.

Война, ты их не торопи,
прости, река, стальной чекашки...
Скоро, скоро в харьковской степи
бросят лаву конную на танки...

Утонут в пролитой крови
клинки, усеявшие поле...
Скачут кони в мареве травы,
гаснет песня в дальнем белостовье.

Еще не знают казаки,
не знают женщины и дети —
зря полягут конные полки,
будто их и не было на свете...

Мальчишки воробьям сродни,
когда настало время звездам,
разлетелись по домам они —
по своим осиротевшим гнездам.

Весь день вчерашний солнце пахло мятой,
цвели луга в блаженстве и молчанье,
и ласточки — до самого заката —
мне сердце наполняли ликованием.

А нынче дождь, занудный и угрюмый,
пропахло небо горечью печали,
и сладить я не в силах с темной думой,
а тут еще и ласточки пропали...

ВЕСНА

Сады — в самом цвету,
настоены на меду...
С яблонь и вишен
только и слышишь:
«Цви-и-ить-вить-вить,
вить-вить-цвить!..»

Трели эти в каждой строке
так звучат на русском языке:
«Цви-и-ить: пора любить,
вить-вить: пора гнезда вить,
вить-цвить: птенцов заводить!..»

Цви-и-ить — вить-вить,
вить-вить-цвить!..

Любовь — в самом цвету,
Настояна на меду.



Фрагмент. "Паллада и кентавр"
С. Боттичелли

Сане Малюшину

Бывает, загрустишь с утра,
но только выйдешь со двора
в разбухенную рань,
вдруг — на весь свет:
«Здорово, Вень!»
А я в ответ:
«Здорово, Сать!»
И радость на весь день...

Дональд ХЕНИГ

Ave, CAESAR!

«Всеамериканская компания похищений (с ограниченной ответственностью), бессменным президентом которой я имел честь быть, с незапамятных времен была вне конкуренции. Мы гарантировали клиентуре похищение любого заказанного объекта без следов и улик, зарабатывая на хлеб насущный в поте лица своего. Поэтому я буквально был захвачен врасплох, когда некий Барни Блю заявил мне:

— Я уже давно восхищаюсь твоей фирмой, приятель. Но скажу откровенно, в последнее время вы хиреете и мельчаете. Предлагаю на взаимовыгодных условиях создать объединенную корпорацию, которая может вернуть былую славу. Разумеется, я высмеял это глупое и беспардонное предложение.

— Я человек чести, — сказал в заключение Барни. — Поэтому предупреждаю, что намерен открыть собственную фирму. Дело поставлю на широкую ногу и утру всем вам нос. Так что вот, приятель, я предупредил — можешь свертывать паруса.

Признаться, Барни кое в чем был прав. В последнее время мы и в самом деле почил на лаврах. Поэтому я тут же вызвал своих парней — Джека и Бака — и рассказал им о вероломстве Барни Блю и его намерении подложить нам свинью.

— Мы должны показать этому выскочке на что способны, — заявил я. — Подцепим такую рыбку, какой еще не знали наши сети. Выкуп: пять миллионов долларов и ни цента меньше!

— Ты имеешь ввиду Гриффина? — ужаснулся Бак.

— А почему бы и нет? — ответил я ему, сохраняя хладнокровие. (О миллионах этого воротила Гриффина ходили легенды.)

— Это невозможно, шеф! Его автомобиль имеет броню, как у танка, а охрана — сплошь двухметровые гориллы.

— Поверь мне, Бак, у каждого человека есть сильные и слабые стороны. Например, Гриффин помешан на дипломатах. Это ли не шанс?

— И как же ты собираешься его заполучить? — полюбопытствовал Джек.

— Послезавтра мы — естественно, в качестве членов дипломатического корпуса — примем участие в костюмированном вечере, который устраивается мэром в благотворительных целях — ...и я изложил им свой генеральный план, подготовка и реализация которого,

увы, должны были основательно опустошить наш банковский счет. Но мы без колебаний пошли на риск, так как не сомневались в успехе. Гарри Энд — король подделок, — изготовил нам отменные пригласительные билеты на бал-маскарад, который должен был состояться на Лонг-Айленде в одной из премиальных вилл.

И вот мы на маскараде. Бак одет пещерным человеком: на плечах шкура медведя, в руке дубина. Джек в сорочке с жабо, темной накидке и с томиком стихов в руках — вылитый лорд Байрон. Я же был — не более, не менее — Джорджем Вашингтоном...

В зале мы смешались с толпой губернаторов, восточных шейхов, посланников далеких экзотических стран, дельцов с Уолл-стрит и, конечно же, ослепительных дам. Все присутствующие, как и полагается, в маскарадных костюмах и масках. Идем, раскланиваемся — с Оливером Кромвелем, с Тэлейраном Наполеоном Бонапартом, мадам Бовари и прочими знаменитостями.

Наконец в костюме толстого Цезаря узнаю милейшего Гриффина.*

— Ave, Caesar! — приветствовал я его.

— Вы меня узнали? — не без самодовольства спросил он. — С кем имею честь?

— Президент Вашингтон.

Мы тут же завязали беседу, и я довольно тонко намекнул ему, что принадлежу к дипломатическому корпусу. За разговором незаметно отделился от толпы и вышел в дверь, ведущую на балкон. А там совершенно случайно оказался пещерный человек с дубинкой...

Ошарашенного Гриффина воткнули в куль, сшитый из медвежьей шкуры (поверьте, не так-то просто было найти подходящего гризли для этой туши!). Бак перекинул «медведя» через плечо и, посапывая от натуги, потопал снова в зал.

— Господа! Вы изволите видеть президента Вашингтона, — объявил я с пафосом, входя в зал, — за которым шествует символическая мощь Соединенных Штатов с медведем на плече.

Под веселый смех и аплодисменты мы прошествовали к дверям, что вели на лестницу, и преисполненные достоинства, не спеша прошли к самой стоянке автомобилей. Там за рулем «форда» уже сидел лорд Байрон и с нетерпением ждал нас.

Когда подъехали к празднично украшенным воротам, полицейский патруль учтиво отдал нам честь. Ни-

* Ave Caesar, morituri te salutant — лат. «Здравствуй, Цезарь, обреченные на смерть приветствуют тебя!» — восклицание римских гладиаторов, проходивших перед боем мимо императорской ложи.

чего удивительного! Когда еще этим размазням-копам удастся собственными глазами увидеть президента Вашингтона в компании с лордом Байроном, пещерным человеком и всхрапывающим медведем?

Специально арендованный, небольшой и хорошо укрытый в чащобе охотничий домик гостеприимно распахнул нам двери — здесь, в сотне километров от города, мы были в полной безопасности. Мы выволокли нашего «гризли» на середину комнаты, и Гриффин постепенно начал приходить в себя. Как мы поняли, вначале он был несколько дезориентирован — как-никак, а лежать в медвежьей шкуре не очень легко. Но немного очухавшись, принялся орать на нас. Что это, мол, за дурацкие шутки, и снимите, дескать, побыстрее эту чертову кожу. Когда же мы его «распеленали», он вытаращил глаза, ничего не понимая.

— Что случилось?! — спросил он перепуганно, озираясь по сторонам. — Это что, сумасшедший дом?

— Могу вас заверить, мистер Гриффин, что вы находитесь не в психиатрической лечебнице, — поспешно успокоил я его. — Совсем недавно мы с вами были на благотворительном вечере, а сейчас я принимаю вас в качестве почетного гостя. Как это все произошло? Если быть откровенным до конца, то скажу, что мы позволили себе просто похитить могущественного Цезаря.

— Что?! — взревел он. — Это же скандал!

— Бесспорно, — охотно поддакнул я. — Но этот скандал, как вы изволите его называть, можно быстро ликвидировать. Это зависит только от вас.

Гриффин продолжал таращить глаза. («Не переусердствовал ли Бак со своей дубинкой? — подумал я.)

— Мы меняем вас на пять миллионов долларов. Довольно взаимовыгодная сделка. Не так ли? Для вас эта сумма — пустяк, мы же сможем восстановить пошатнувшиеся дела нашей фирмы.

Гриффина это предложение не привело в восторг и он принялся извергать проклятия и угрозы.

— Уверая, дорого вы мне за это заплатите, мистер... — мистер... Как вас там?

— Зовите меня просто президентом, — церемонно поклонился я. — Но ближе к делу. К кому я должен обратиться по вопросу названной суммы?

Гриффин упрямо молчал.

— Мистер Гриффин, — сказала я вежливо, но достаточно твердо. — Даю вам на размышление один час. Надеюсь, мы придем к соглашению. Надеюсь, что вы проявите благоразумие, и не захотите, чтобы мы принудили вас помочь нам иными путями... Утро вечера мудренее!

— Позвоните моей жене, — капитулировал Гриффин с восходом солнца и дал нам номер телефона. — Она и только она может выплатить вам такую сумму. Разумеется, если поверит, что от этого зависит моя жизнь...

— Можете быть спокойны, поверит, — успокоили мы его.

Поехали в город и до самого полудня не слезали с телефона, пытаясь дозвониться до его старухи. Тщетно!

— Что за номер вы нам подсунули? — обрушились мы на поблекшего «Цезаря», вернувшись из города ни с чем.

— Это номер личного телефона моей жены!

— Настолько личный, что никто не желает поднять трубку?

— Право, не знаю в чем дело! — в голосе миллиардера звучала неподдельная тревога. — Видимо, жены нет дома. Продолжайте звонить. Пожалуйста! Поздно вечером, ночью — в конце концов! — но она должна же явиться домой!

— А не водите ли вы нас за нос, мистер?

— Клянусь вам, что такую сумму денег могут снять с моего счета только два человека: моя жена, и я. Поверьте мне!..

Судя по всему, перепуганный «Цезарь» говорил правду. Мы названивали до поздней ночи — телефон безмолвствовал. Рано утром следующего дня я собрал экстренный совет.

— Если сегодня нам не удастся связаться с женой Гриффина, придется отпустить его.

Бак застонал от отчаяния...

— Да, ребята, другого выхода нет. Если вечером он не явится домой, мы натравим на себя всех полицейских ищеек Штатов.

...Под вечер, разбитые и раздосадованные, явились мы в охотничий домик и объявили:

— Мистер Гриффин — мы свободны. Надеемся, что вам у нас понравилось!..

— Пять миллионов дьяволов в бок проклятой старухе! — в сердцах проговорил я, расставшись с нашим милым гостем. — И где она только шатается? Ведь достаточно было ей оказаться дома, поднять телефонную трубку и...

— Все насмарку! — чертыхнулся Джек, пиная медвежью шкуру.

Это был черный час — час банкротства нашей фирмы.

Когда на следующий день зашли на биржу, чтобы пощупать почву насчет получения какой-нибудь работы, в дверях этого малоприятного заведения столкнулись с Барни.

— Ну и как идут дела у новой фирмы? — спросил я у него как можно равнодушнее. Он взглянул на меня как затравленный зверь:

— Я тебе не конкурент...

Тут уж я никак не мог скрыть своего удивления.

— У меня был громадный план. В это предприятие вложил все, что имел... И знаешь, кого мы заарканчили? — Барни немного оживился, — жену самого Гриффина! Выкуп — пять миллионов долларов. Она согласилась, но мы никак не могли дозвониться до ее мужа... А держать дольше — сам понимаешь...

Перевод с английского В. РОЩАХОВСКОГО

Елена ЗОРИНА

В СЕЛЕ НА РЕЧКЕ СИНЯЧИХА

Много веков назад здесь жили древние вогулы. Реку, на берегах которой стояли их селения, называли Санюйча-Ха («мокрая река»).

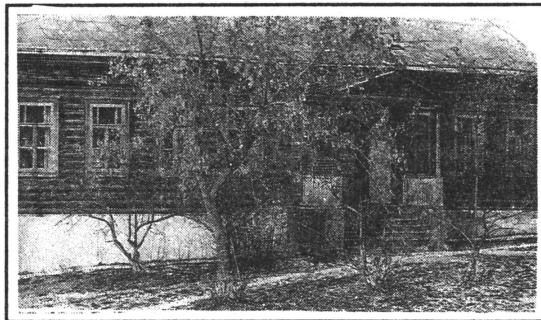
В 1772 году по приказу Екатерины II Савва Яковлевич Яковлев основал здесь железодельный завод. Возник небольшой рабочий поселок. Первые жители нарекли его «Синячиха», переделав на русский манер непонятное им слово. К названию прибавили «верхняя», потому что ниже по течению реки была уже Синячиха — Нижняя. Там ныне знаменитый музей под открытым небом Ивана Даниловича Самойлова.

В 1854 году в центре поселка взметнулся в небо величественный Успенский собор. Сюда приходили молиться, слушать пение церковного хора... Потом родилось новое поколение, сыновья отвергли веру отцов, превратили пристанище веры в хлебопекарню. Сейчас храм мертв, внутри не сохранилось ни одной фрески, в алтаре — мусор и ржавые механизмы. Говорят, в полуразрушенных стенах собора поселились злые духи...

Еще в XVIII веке некоторые жители верхнесинячихинского поселка вставляли чуть свет и пешком шли в Алапаевск, в словесную школу, открытую Василием Никитичем Татищевым. В 1872 году стараниями Верхнетурского земства (поселок был тогда в составе Верхотурского уезда) в Верхней Синячихе появилось народное училище. Классы размещались сначала в пустующих комнатах нескольких частных домов, а позже на средства жителей для школы построили специальное здание. Директором училища стал Михаил Петрович Чистяков. А в 1910 году на берегу пруда открылась новая школа. Число учащихся не было постоянным. В среднем школу посещали 30-40 мальчиков, а осенью, во время уборки, и того меньше. Но сохранился документ, из которого следует, что инспектор народных училищ Верхотурского земства, побывав на экзамене, отметил высокий уровень знаний верхнесинячихинцев. Просвещению рабочих способствовал управляющий заводом П.И.Турбин. В 1907-12 годах он ежегодно выделял школе по сто рублей, и эти деньги позволили сделать бесплатными учебники.

На стене здания городской библиотеки, что на улице Советской (бывшей Церковной), прибита мемориальная доска с надписью «В этом доме в 1907 году

была открыта первая библиотека на средства издателя Павленкова». Доска появилась по почину директора музея С. Г. Кайдалова. Благодаря ему, жители Верхней Синячихи узнали, что 85 лет назад петербургский издатель — миллионер Флорентий Федорович Павленков, умирая от чахотки, завещал деньги, чтобы открыть в России две тысячи бесплатных сельских библиотек. К 1910 году библиотеки уже действовали, и одна из них — в Верхней Синячихе. Первые 450 экземпляров книг нашли приют в одной из комнат сельской школы. Библиотекарями стали по совместительству учителя Василий Васильевич и Таисья Васильевна



Здание, где первоначально размещалась библиотека им. Павленкова.

Подковыркины, а потом — их дочь Вера Васильевна. Павленков полагал, что в хороших книгах содержатся истины, которые спасут людей от войн, нищеты и бесправия. Среди книг, посланных его наследниками в верхнесинячихинскую библиотеку, были сочинения Л.Толстого, А.Герцена, В.Гаршина, Л.Андреева, В.Короленко, С.Аксакова. Грамотные жители поселка теперь могли познакомиться с шедеврами русской литературы.

Библиотека, открытая на средства Павленкова, существовала в поселке до 1920 года, занимая часть второго этажа здания на улице Верхнесинячихинской, вскоре переименованной в улицу Ленина. Но фонд стал совсем маленьким: книги терялись, не возвращались обратно.

Шла гражданская война, молодежь брала в руки не книги, а винтовки. 300 верхнесинячихинцев ушли воевать в красные отряды, 100 из них погибли. Сколько сражалось на стороне белогвардейцев неизвестно: их предали забвению. Жив еще был храм, но все меньше и меньше прихожан шло в воскресное утро на службу, где обреченно молился за русскую землю последний священник — отец Иоанн.

Летом 1918-го недалеко от поселка за железнодорожным переездом полуживыми были сброшены в старую шахту великие князья Романовы и всепрощающая инокиня Елизавета Федоровна, сестра царицы. Рассказывают, что ночью ветер доносил до Синячихи стоны умирающих...

Потом рядом со старой шахтой шел бой. 28 сентября поселок заняли колчаковцы. Они извлекли трупы Романовых из шахты, в алапаевском Алексеевском

соборе священник отслужил панихиду. А белые офицеры нашли дом первого секретаря большевистской организации поселка Емельяна Ивановича Черепанова. Сына его, 18-летнего Сашу, расстреляли, и старая шахта стала его могилой. Отец вскоре тоже погиб в бою под Верх-Нейвинском.

Началась коллективизация. Думы о хлебе насущном стали выше всех человеческих помыслов. Библиотеки в поселке больше не существовало, правда, несколько старых книг сохранилось в домах старожилов.

С.Г.Кайдалов помнит среди них «Семейную хронику» Аксакова со штампом павленковской библиотеки... Может быть, жители поселка брали книги с собой, когда шли в город на рынок, чтобы обменять их на продукты питания. Булка хлеба в то время стоила 400 рублей.

Только успели оправиться от голода, как началась Отечественная война. 600 синячихинцев ушли на фронт, 300 — не вернулись. В память о них на главной площади поселка стоит обелиск.

После войны жизнь постепенно налаживалась. Открылись новые предприятия: лесохимический завод, завод древесно-стружечных плит, фанерный комбинат. Одну за другой построили четыре школы. В 1950-м появилась избачитальня, а сейчас здесь две библиотеки с фондом в несколько тысяч книг, читальные залы в школах, передвижки на предприятиях... И хотя неграмотных людей в поселке теперь нет, но молодежь предпочитает проводить свободное время не за чтением, а на дискотеке, смотреть в кинозале индийские фильмы или боевики в видеосалоне.

Спрашиваю случайную попутчицу, пожилую женщину, коренную жительницу Верхней Синячихи: «Что изменилось в поселке за последние десятилетия?» «Люди стали чужими друг другу, — отвечает она. — Особенно молодые. Не знаю, от чего это произошло, может быть от того, что забыли старину и стремимся только к богатству? Раньше мы последний кусок хлеба с соседом делили, бездомного привечали, если у кого беда страшлась, спешили на помощь. Тяжело приходилось, но были добрее. А сейчас, знаете, когда на душе тоска, я прихожу в краеведческий музей, в тот зал, где звери разные, и отдыхаю».

Создатель и директор музея — Сергей Григорьевич Кайдалов. А чучела животных делает пенсионер Николай Савватеевич Холодов. Его же руками изготовлен уникальный экспонат — макет старинного железодельного завода в Верхней Синячихе. Под действием тока вращаются колеса механизмов, работает водяная турбина...

Музей открылся в 1983 году, сейчас в нем 12 залов. Предметы быта, изделия синячихинских умельцев, иконы, исторические фотографии... В зале, посвященном знаменитым жителям поселка, — портрет Павленкова.

Заботу у Сергея Григорьевича хватает: Верхняя Синячиха включена в туристский демидовский маршрут ЮНЕСКО. Еще он пишет книгу по истории поселка.

ФОЛИАНТ ЭПОХИ ИВАНА ГРОЗНОГО

В 1984 году писатель Зот Тоболкин подарил Тюменскому музею изобразительных искусств старинную книгу, которая до недавних пор значилась как рукопись XVIII века. Однако начертание букв, тип заставки, вязь кинноварных заголовков и даже цвет и фактура бумаги подтверждали иное: объемистый том почти в четверть тысячи листов создан профессиональным переписчиком и отличным каллиграфом в... середине — второй половине XVI века. Книга написана и художественно оформлена настолько характерно для своего времени, что можно и не искать дополнительных подтверждений времени ее изготовления, но водяные знаки — щит с крестом в нижней его части — со всей определенностью указывают на ту же эпоху — правления грозного царя Ивана Васильевича.

Фолиант, хорошо сохранившийся для своих почтенных четырехсот с лишкой лет, одет в простой, правда, более поздний, переплет из деревянных досок, обтянутых телячьей кожей, тиснутой красивым узором.

На последнем листе почерком, повидимому, XIX века, сделана пометка: «Книга сия Евангелие куплено за 8 рублей». Подпись бывшего владельца пока не разобрана. Но можно утверждать, что покупатель заплатил за книгу немалые деньги, ведь корова стоило приблизительно 3 рубля.

Далеко не всякий городской музей обладает подобным сокровищем книжного искусства — средневековой рукописью такой сохранности и каллиграфического мастерства. Кстати сказать, Тюменский музей изобразительных искусств постоянно экспонирует подборку рукописных и печатных книг XVI-XX веков, но теперь к печатному изданию XVI века прибавилась редкая и ценная рукопись. □

Л. и Ю. РЯЗАНОВЫ

ВАЛ АДРИАНА

О Великой китайской стене слышаны все. Ее, кстати, можно наблюдать и из космоса. А многие ли слышали о стене английской?

Император Адриан, правивший Римской империей в те времена, когда под ее властью находилось все Средиземноморье, когда были завоеваны Британия и Дакия, подобно китайским владыкам, решил отгородить свою империю мощными укреплениями и оборонительными валами. Были возведены такие укрепления и в Британии, чтобы преградить путь возможным набегам с севера.

Китай — страна огромная, и чтобы защитить ее от кочевых племен, там возвели стену длиной около 4000 километров (по другим данным, более 5000). У римлян задача была много проще — перегородить остров с запада на восток в самых узких его местах. Наиболее мощным «укрепрайоном» был вал Адриана, протянувшийся на участке длиной в 117 километров от залива Солуэй-Ферт на западе до устья реки Тайн на востоке.

Вал Адриана, известный также под названием Римская линия, представлял собой стену высотой 6 метров (для сравнения: Великая китайская стена на разных участках имеет высоту от 6,6 до 10 метров), глубокого рва и земляного вала, идущего параллельно стене. Вдоль Римской линии были сооружены грозные укрепления: башни, форты, окруженные стенами поселения. В поселениях было все необходимое для проживания, в том числе храмы и термы (бани), в которых в студеные дни любили проводить время свободные от службы легионеры. Через находящиеся в районе линии реки были переброшены крепостные мосты, также окруженные фортификационными сооружениями. Через каждую римскую милю (около 1500 метров) в стене имелись двойные ворота с башнями для стражи.

Возведенный во II веке н.э. вал Адриана выдержал несколько нашествий. Несмотря на мощные сооружения, римлянам однажды пришлось отступить и сдать укрепления неприятелю. Через некоторое время легионы вновь овладели Римской линией. Были ликвидированы разрушения, по-

строены новые сооружения, и вал стал снова мощной оборонительной линией. Но после распада Римской империи и заката ее величия легионеры покинули Британию. В конце IV века н.э. опустевшая линия начала разрушаться...

Сегодня, спустя много веков, на месте грозного вала Адриана еще сохранились руины укреплений (правда, из космоса их уже не рассмотреть). Римские валы стали туристской достопримечательностью Великобритании и находятся под охраной государства как исторический памятник. □

В. РОЩАХОВСКИЙ

ЧАСЫ ВСЕЛЕННОЙ

...Они занимают чуть ли не целую стену в зале Ивановского краеведческого музея. Эти уникальные часы были изготовлены в XIX веке парижским механиком Альбертом Биллетэ для одного из представителей древнего рода герцогов Альба. В 1911 году основатель Ивановского музея Д.Бурылин купил их за 3000 рублей на аукционе. Часы показывают более 100 различных величин. Средняя — астрономическая их часть — рассказывает о движении Земли и других планет вокруг Солнца, слева и справа — хронологическая и географическая части. Есть 4 календаря. Механизмы их очень сложны, главным образом потому, что месяцы имеют разное число дней, но конструктор нашел выход из положения. Предложил оригинальное техническое решение. 37 циферблатов справа показывают поясное время в городах 5-ти материков. Здесь же, в боковых витринах, можно узнать время восхода солнца, долготу дня и ночи и многое другое. После покупки на аукционе часы еще шли, но вскоре остановились, а мастера, который мог их починить, долго не находилось. Только через 30 лет доцент педагогического института математик А.Лотоцкий нашел способ заставить часы вновь ожить. Два месяца изучал он сложную механику старинных уникальных часов. 1 мая 1943 года часы заработали вновь и до сих пор идут отлично. □

В. СТОЛИЦЫН

Виталий ВОЛОВИЧ



«Старый Таллинн»

Из цикла работ

«Переславль-Залесский»



«Женщины и монстры»

ВЕРНИСАЖ

«Уральского следопыта»

13-57
ВЕРНИСАЖ
«Уральского следопыта»



Виталий ВОЛОВИЧ

Из цикла работ

«Женщины и монстры»